Иногда самое настоящее начинается за пределами тела…
Ben de yapabilirim
Özel Eğitim ve Destek Merkezi
За пределами тела
Любовь начинается с «я с тобой»
АВТОР
ГЕЛЯ ЛАЙМ

Геля Лайм
За пределами тела

https://litres.ru/74689054
SelfPub; 2026

Аннотация

Давут — турецкий актёр, который улыбается камерам, а всё настоящее носит внутри. Вместе с лучшим другом Али пишет сценарий к будущему фильму. Три года встречается с Айлин — и в день, когда решается сделать предложение, узнаёт её тайну: за кольцом она видит только деньги и красивую жизнь.

В тот же день в кафе он встречает Джамилю. Случайная встреча выходит не очень элегантно — но именно с неё всё начинается. Давут влюбляется — надолго. Строит с Джамилей семью, знакомит её со своими родителями и с Али, а сам находит тёщу и тестя, которые становятся ему вторыми родителями.

Али тоже находит свою невесту — громкую подругу Джамили - Дуру. Она привыкла опережать события на пол-Стамбула, и Али терпеливо учит её слушать тишину — а сам в этой тишине впервые слышит собственное сердце.

Геля Лайм
За пределами тела

- Давут, можно автограф?! Давут, мы любим тебя! – кричали фанаты возле сцены с включенными камерами телефона.

Они бежали с цветами и подарками, пели песни из тех фильмов, в которых он играл. Затем подкидывали вверх конфетти. Это, конечно, хорошо, шумно, весело и приятно. Ведь тебя узнают, любят, про тебя говорят на каждом углу, в каждой газете, в каждом журнале. Но Давут, кажется, был не рад. Он стоял по середине сцены и мило улыбался. Это была улыбка ради фанатов, не отражавшая счастье души. Потому что в душе была пустота. Со своей девушкой Айлин он встречался три года. Вначале всё прекрасно. Много слов о любви, поцелуи на закате. Давут дарил ей цветы, дорогие подарки. Часто подвозил ее на работу и забирал ее по вечерам в шикарные рестораны. Это была сказка, в которой один пашет, а другой счастлив и отдает в ответ лишь то, что считает удобным для себя. С каждым годом всё меньше ласки и тепла. Давут считал это нормальным, словно так и должно быть, так у всех.

В один прекрасный летний день, когда Давут со своим лучшим другом Али готовил сценарий для своего будущего сериала, достал коробку с кольцом.

- Что это? Кольцо? Ты серьезно собрался на ней жениться? – резко выдал Али и приобнял друга.

Али всегда поддерживал друга, всегда был на его стороне. Они были знакомы еще с вуза, когда вместе учились на актерском. В те годы Давут часто в себе сомневался и не спал ночами от бесконечных репетиций. Были слышны крики о том, что он бездарщина, а на полу валялись клочки бумаги. Тогда Али подходил и обнимал так крепко, как только мог. Он обнимал без слов о том, что всё будет хорошо, без слов «всё наладится». В этой тишине слышались звуки его души. (Давут, я с тобой.)

- Собрался. Как думаешь, камень на кольце ей понравится? – произнес Давут с надеждой внутри.

- Ты серьезно? Она же тебя использует. Ты для нее банкомат для красивой жизни. И наверняка Айлин завела себе любовника.

- Ты мне друг или лектор в вузе? Так у всех пар. Это нормально. Мужчина пашет, а девушка просто живет.

Али не стал уговаривать друга. Он понимал, что это бесполезно. Тем более красотка Айлин всегда найдет способ выкачать из друга побольше денег.

Друзья продолжили писать сценарий. Они в шутку ругались и запивали неудачи черным чаем. Их работа кипела три часа и отняла много сил. Давут приехал домой и после душа без раздумий лег спать. Айлин в кровати не было, но на тумбочке стоял ее портрет. На утро Давут его долго рассмат-

ривал. Ах, эти карие глаза и каштановые кудри. А фигура какая тонкая и талия осиная. Сердце заколотилось. Воздух стал тяжелее. Затем звонок в дверь. Открывается дверь, и входит Айлин в шикарном золотом платье и с красной помадой на губах. Она изящно повесила сумку и обняла Давута. В ее объятиях был холод и отстранение. Это не было страстью и теплом, как раньше. Все давно в прошлом.

- Ты где была? - гневно спросил Давут и отстранился так, будто перед ним чужая женщина.

- У подруги, – невинно ответила Айлин и поцеловала его в губы страстно и холодно.

Давут отшатнулся от этого холодного поцелуя, будто обжёгся.

— У подруги? — повторил он, голос стал низким, чужим. — Ты ушла в восемь утра, вернулась в полдень следующего дня, а говоришь «у подруги»?

Айлин чуть приподняла бровь, будто он говорил какую-то нелепицу.

— А что, мне теперь отчитываться? Я взрослая женщина, Давут. Не надо устраивать из этого трагедию.

Он сжал кулаки, и в этот момент ему вдруг стало стыдно перед самим собой: столько лет он оправдывал её холодность, списывал на усталость, на характер, на «так у всех». А теперь это звучало как издевательство.

— Трагедию? — горько усмехнулся он. — Знаешь, трагедия — это когда ты три года смотришь, как человек отдаля-

ется, а делаешь вид, что всё нормально. Я ведь хотел… — он запнулся, не решаясь произнести главное.

— Что хотел? — Айлин уже не смотрела на него: она подошла к зеркалу, поправила локоны, провела пальцем по помаде.

Давут почувствовал, как внутри что-то обрывается. Он шагнул к тумбочке, взял ту самую коробочку и резко открыл её.

— Хотел сделать тебя счастливой, — тихо сказал он, протягивая кольцо. — Хотел, чтобы ты знала, что я всё это делаю ради нас.

Айлин замерла. На секунду в её глазах мелькнуло что-то — не то удивление, не то испуг. А потом она расплылась в широкой, ослепительной улыбке — той самой, которую обожали папарацци.

— Давут! — воскликнула она, прижав руки к груди, будто вот-вот расплачется от счастья. — Ты серьёзно? Кольцо?

Она выхватила коробочку, надела кольцо на палец, покрутила рукой, любуясь, как камень ловит свет. Потом бросилась к нему, обвила шею, прижалась так крепко, что он почувствовал, как напряжено её тело — будто она не обнимала, а позировала для невидимой камеры.

— Оно такое красивое! Ты лучший! — щебетала она, а в голосе звенела фальшивая радость, звенящая, как тонкий хрусталь, который вот-вот разобьётся. — Надо срочно выложить фото в соцсети! Все будут завидовать!

Давут стоял неподвижно, не обнимая её в ответ. Он смотрел на её сияющее лицо и понимал: эта улыбка — не для него. Она сияла не от любви, а от того, что теперь у неё есть ещё один повод быть в центре внимания.

В этот момент телефон Айлин зазвонил. Она, не выпуская Давута из объятий, скользнула взглядом по экрану и тут же нахмурилась.

— Ой, прости, это по работе, — пробормотала она, отстраняясь и выходя из комнаты, прикрыв дверь.

Давут остался один посреди комнаты. Коробочка лежала на тумбочке — пустая. А на его душе было пусто так же, как и раньше. Только теперь к этой пустоте прибавилась горечь. Даже завтра к в горло не лезет.

В это время в соседней комнате Айлин говорила по телефону и параллельно вызывающий макияж.

- Ты не вовремя позвонил. Такой момент испортил. – с гневным смехом говорила она с любовником.

- Какой момент? Неужели кольцо? Соглашайся. Выйдешь замуж за него, заберешь деньги, а потом разведешься и ко мне. – голос любовника звучал сладко как у подлизы.

Давут стоял посреди комнаты, будто окаменев. Слова Айлин, сказанные в соседней комнате, долетали до него обрывками — он не хотел их слышать, но они впивались в сознание, как осколки. «Такой момент испортил… выйдешь замуж, заберешь деньги…»

Он медленно подошёл к двери, прислонился к косяку, за-

крыл глаза. В ушах ещё звенел её восторженный голос: «Оно такое красивое! Ты лучший!» А теперь эта фальшь расползалась по всему дому, отравляя воздух.

Дверь в спальню приоткрылась, и Айлин выпорхнула оттуда с прежним сиянием на лице — будто и не было никакого разговора.

— Давут, ну что ты стоишь? — она схватила его за руку, потянула к зеркалу. — Смотри, как кольцо смотрится! Надо сделать пару кадров, пока свет хороший. Потом выберем лучший, я уже придумала подпись: «Самый счастливый день».

Он не смотрел на кольцо. Он смотрел на неё — на то, как она поджимает губы, чтобы улыбка получилась идеальной, как чуть наклоняет голову, будто уже видит себя на обложке журнала.

— Ты ведь даже не слушала, что я говорил, когда дарил его, — тихо произнёс он. — Ты вообще слышала хоть слово?

Айлин на секунду замерла, улыбка дрогнула, но тут же вернулась на место — крепкая, привычная, безупречная.

— О чём ты? — она попыталась рассмеяться, но смех вышел сухим, как шелест бумаги. — Ты сказал, что хочешь сделать меня счастливой. И сделал! Я счастлива!

— Нет, — он наконец высвободил руку. — Не счастлива. Ты просто умеешь выглядеть счастливой.

Она нахмурилась, и в этом движении впервые проступило что-то настоящее — не маска, а раздражение, почти злость.

— Что за бред ты несёшь? У тебя опять эти твои актёрские загоны? Тебе везде трагедии мерещатся!

Давут горько усмехнулся.

— Мне мерещится правда. А ты её прячешь за этой улыбкой.

В комнате повисла тишина. Айлин сжала пальцы в кулаки, потом резко опустила руки, снова натянула на лицо беззаботность.

— Ладно, не будем ссориться. Давай просто сделаем фото, а потом закажем ужин. Ты же любишь тот ресторан на набережной…

— Не сегодня, — перебил он. — Мне нужно побыть одному.

— Но… — она снова попыталась улыбнуться, но улыбка уже не держалась. — Давут, не делай из мухи слона.

Он молча прошёл мимо неё, взял со столика ключи от машины, задержался у двери.

— Знаешь, я столько лет думал, что если буду стараться, дарить подарки, возить в рестораны, то ты снова станешь той девушкой, с которой мы сидели на закате и говорили обо всём на свете. А оказалось… оказалось, что ты просто привыкла к тому, что я всё это делаю. И тебе этого достаточно.

Айлин застыла у зеркала, пальцы нервно теребили край платья.

— Ты сейчас серьёзно? Ты из-за какого-то разговора раздуваешь драму?

— Из-за не одного разговора, Айлин. Из-за трёх лет.

Дверь тихо закрылась за ним.

На улице было шумно и суетливо, но Давут этого не замечал. Он сел в машину, опустил голову на руль и наконец позволил себе то, чего не позволял уже давно — просто выдохнуть. Не улыбаться. Не играть. Не делать вид, что всё в порядке.

Телефон в кармане завибрировал. Он не глядя провёл пальцем по экрану — сообщение от Али: «Ты где? Если хочешь, можем просто посидеть, попить чая. Или вообще ничего не делать. Я тут».

Давут сжал телефон в руке, и впервые за долгое время ему стало чуть легче. Не потому, что проблема исчезла, а потому что рядом был тот, кто не станет притворяться. Тот, кто скажет правду — даже если она горькая.

Давут сидел, уткнувшись лбом в руль, и не замечал ни гудков машин, ни криков прохожих, ни того, как солнце безжалостно било в лобовое стекло. Мир вокруг был слишком ярким, слишком громким — словно кто-то выкрутил все ручки на максимум, а ему хотелось только тишины.

Он достал из кармана коробочку — ту самую, теперь пустую, — и покрутил её в пальцах. Внутри всё сжималось от одной мысли: он ведь правда верил, что кольцо — это ключ. Что стоит только достать его, произнести нужные слова, и всё снова станет как в самом начале: тёплые закаты, разго-

воры ни о чём, её смех, который звучал искренне.

«Я столько всего делал, чтобы она чувствовала себя любимой… А она просто привыкла. Привыкла к подаркам, к ресторанам, к тому, что я всегда рядом. И этого ей было достаточно».

Он горько усмехнулся, глядя на коробочку.

«А я ведь даже не спрашивал, чего она хочет на самом деле. Не спрашивал, устала ли она, счастлива ли, о чём мечтает. Я просто старался быть тем, кем, как мне казалось, должен быть мужчина в паре: добытчиком, опорой, тем, кто всё решает. Я строил эту сказку, не замечая, что она в ней не живёт, а просто красиво в ней смотрится».

В голове снова зазвучали обрывки разговора Айлин с любовником. Слова впивались в сознание, как осколки стекла: «выйдешь замуж, заберёшь деньги…»

«И ведь Али пытался мне сказать. Прямо, грубо, без прикрас. А я огрызался, защищал её, потому что слышать правду было невыносимо. Легче было верить в иллюзию, чем признать, что всё это время я любил не её — я любил образ, который сам же и придумал».

Давут сжал коробочку в ладони до побелевших костяшек, а потом резко открыл бардачок и швырнул её туда. Пусть лежит. Пусть исчезнет из виду, потому что сейчас от одного её вида становилось только больнее.

Телефон снова завибрировал. Ещё одно сообщение от Али: «Я у кофейни на углу. Если ты где-то рядом — заезжай.

Или не заходи, просто посиди со мной пять минут. Или вообще ничего не делай. Я тут».

На этот раз Давут не стал сжимать телефон в руке, будто это спасательный круг. Он просто кивнул сам себе, вставил ключ в зажигание и повернул. Мотор ровно заурчал, перекрывая шум улицы.

«Пять минут рядом с тем, кто не будет притворяться. Пять минут, когда можно просто выдохнуть и не быть ни актёром, ни идеальным парнем, ни добытчиком. Просто быть собой — даже если сейчас этот „я“ — сломленный, растерянный и не понимающий, куда идти дальше».

Машина плавно тронулась с места, вливаясь в поток. Давут смотрел прямо перед собой, и впервые за долгое время в его взгляде не было попытки казаться сильнее, чем он есть. Была только усталость и тихая надежда на то, что рядом есть человек, который примет его и таким.

И вдруг по радио заиграла песня Zlatentsia «И когда ты научишься отпускать». Голос певицы полился из динамиков — тяжёлый, честный, будто знал про него всё.

«Он чужой тебе человек,

Отойди, не смотри, забудь…»

Давут резко втянул воздух, будто от пощёчины. Слова ударили не в сердце даже, а глубже — туда, где он до сих пор прятал мысль, которую боялся произнести вслух: Айлин давно стала чужой. Не той девушкой с закатов, не той, которой

он хотел дарить весь мир, а кем-то, кто просто жил рядом, пользуясь его стараниями.

«Отойди, забудь… — повторил он про себя, и от этих слов стало одновременно больно и свободно. — А я ведь не отходил. Я всё тянул, всё пытался вернуть, будто если буду стараться ещё чуть-чуть, она снова станет моей».

«Страшный страх коротать свой век,

Долго-долго с никем не будь…»

Он крепче сжал руль, но уже не от злости — от понимания.

«Вот оно. Именно этого я и боялся. Остаться одному. Считать, что одиночество — это провал, что если ты один, значит, с тобой что-то не так. И потому терпел её холодность, оправдывал её равнодушие, лишь бы не признавать, что мы давно идём по разным дорожкам».

Песня текла дальше, и в ней было столько горечи, что она почти совпадала с его собственной.

«Если он не способен сам,

Значит, ты ему помоги…»

«Помоги… — горько усмехнулся Давут. — А если человек не хочет, чтобы ему помогали? Если ему удобно в этой своей игре? Я столько раз „помогал“ ей быть счастливой: дарил, возил, устраивал. А она просто принимала. И я принимал это за счастье».

«Счастлив тот, кто не одержим,

Кто позволил себе устать…»

Эти слова вдруг ударили сильнее всех остальных.

«Позволил себе устать… — Давут впервые не стыдился этой усталости. — Я столько лет гнал её прочь, считал, что мужчина не имеет права уставать, не имеет права сказать: „Я больше не тяну“. А ведь именно это я и делал — тянул. Один. И думал, что в этом моя сила».

Он чуть опустил стекло, и в машину ворвался уличный шум — не раздражающий, как раньше, а живой, настоящий. Будто мир напоминал: жизнь не остановилась. Она просто пошла дальше, даже если тебе казалось, что всё рухнуло.

«И когда ты научишься отпускать,

Не хватать за рукав, не искать причину…»

«Не хватать за рукав… — подумал он, и перед глазами встала сцена: он протягивает кольцо, а она выхватывает его, как трофей. — Я ведь именно за рукав и хватал. За каждую мелочь, за каждую улыбку, которая казалась мне настоящей. А надо было просто дать ей идти туда, куда она сама хотела».

«Ты рискуешь навек приковать мужчину…»

«Или приковать себя к тому, кто не держится, — додумал он. — Я сам себя приковал к этой иллюзии. И думал, что это любовь».

«Ты почувствуешь лёгкую благодать

От того, что ненужное — за порогом…»

На этих словах Давут вдруг почувствовал, как что-то внутри него чуть-чуть распрямилось. Не радость, нет. Но какое-то тихое, горькое облегчение.

«За порогом… — прошептал он. — Пусть будет за порогом. Пусть эта фальшь, эти игры, эта постоянная попытка казаться кем-то — всё это останется там. А я поеду дальше. Один. Но без лжи».

«То есть это самое страшное —

Жить и знать: он с тобой, но мечтает в чужую повесть…»

Давут закрыл глаза на секунду, а потом снова открыл. И понял: самое страшное уже случилось. Он жил с этим знанием, просто не хотел его видеть. А теперь увидел. И от этого стало не легче, но честнее.

Когда песня закончилась, в машине повисла тишина. Но это была уже не звенящая пустота, а тишина, в которой можно было дышать.

Давут медленно выдохнул, расслабил плечи, которые столько дней были напряжены, будто он ждал удара. И тихо, почти шёпотом, произнёс:

— Я больше не буду держать.

Это не было клятвой, высеченной в камне. Это было просто признание, которое он наконец смог сделать себе.

Он посмотрел на навигатор, на стрелку, указывающую

путь к кофейне, и чуть кивнул.

«Али там. И там не надо будет ничего играть. Там можно просто сказать: „Мне сейчас тяжело“. И этого будет достаточно».

Машина уверенно свернула на знакомую улицу. Солнце уже не било в лобовое стекло так безжалостно — оно опускалось ниже, окрашивая город в тёплые, спокойные тона. И Давут вдруг подумал, что, возможно, впереди ещё будут закаты. Другие. Без фальши. Без попыток вернуть то, что ушло. Просто закаты, на которые можно смотреть, не пытаясь ничего доказать.

Али подошел к кафе. Его улыбка, словно солнце, освещала мир вокруг. Рядом по улице шагали люди. Они что-то бурно обсуждали. Али сел на веранде и вслушался.

- Слышали про новый центр помощи детям с ОВЗ "Ben de yapabilirim"?! – говорили люди в толпе.

- Конечно. Там так красиво и уютно. А директор такая милая и красивая.

- А имя-то какое, Джамиля. Оно восходит к слову جَمَال, означающему «красота» или же «красивая».

- А глаза какие зеленые. Они прям болотные.

- Говорят, у нее мама русская. Поменяла свое имя Яна на крестильное Yuhanna'nın.

Али даже представить не мог, какая девушка живет в Стамбуле, а он и не знает о ней. Он улыбнулся краем губ, слушая этот разговор, и на секунду будто выпал из своих

мыслей. В этой болтовне прохожих было что-то уютное — будто город сам шептал: жизнь идёт, в ней есть и хорошее, и простое, и даже если у тебя на душе тяжело, где-то рядом кто-то радуется новому центру, чьим-то красивым глазам, чьему-то имени.

Затем заказал себе чёрный чай — такой же, какой они с Давутом пили, когда писали сценарий и ругались в шутку. Поставил чашку на стол, обхватил её ладонями, чувствуя, как тепло медленно ползёт по пальцам. И стал смотреть на дорогу, высматривая знакомую машину.

«Пусть приедет, — тихо повторял он про себя, как мантру. — Пусть просто заедет, посидит, не будет ничего объяснять. Или, наоборот, выложит всё подряд, сбиваясь, глотая слова. Лишь бы не оставался там один, наедине с этой болью».

Али знал: Давут из тех, кто годами носит всё внутри, улыбается на камеру, шутит на интервью, а потом в пустой квартире снимает эту улыбку, как надоевшую маску. И сейчас самое страшное было не в ссоре, не в раскрывшейся правде про Айлин — а в том, что Давут впервые столкнётся с тем, что его собственная опора, его «сказка», рассыпалась прямо в руках. И ему придётся стоять без неё.

И тут он увидел его машину. Она медленно въехала на парковку, будто водитель не решался остановиться. Али чуть приподнялся, не размахивая руками, не привлекая лишнего внимания — просто дал знак: «Я здесь. Я вижу тебя».

Давут вышел из машины. Он не шёл, как обычно, — не

той уверенной походкой звезды, которая знает, что на неё смотрят. Сейчас он шёл так, будто каждый шаг давался чуть тяжелее, чем раньше. Плечи опущены, взгляд не в землю, но и не на людей — куда-то сквозь них, будто привыкал к тому, что сегодня ему не нужно никому ничего доказывать.

Когда он подошёл, Али молча отодвинул стул напротив, кивнул на чашку:

— Я взял тебе тоже. Ещё горячий.

Давут сел. Не сразу. Сначала постоял секунду, будто проверяя, можно ли просто вот так — сесть, не играя роли. Потом опустился на стул, положил ладони на стол, посмотрел на свои пальцы, будто видел их впервые.

— Спасибо, — тихо сказал он, и это «спасибо» прозвучало не за чай, а за то, что Али не начал с расспросов, не сказал «ну, рассказывай», не пытался сразу всё исправить.

Они посидели так минуту. Просто сидели. Мимо снова прошла та самая группа людей, всё ещё оживлённо обсуждая центр «Ben de yapabilirim» и зелёноглазую Джамилю. Их голоса звучали где-то на фоне, как шум прибоя — отдельный, чужой мир, который жил своей жизнью.

— Знаешь, я сегодня ехал и слушал одну песню, — наконец тихо произнёс Давут, не поднимая глаз. — Там такие слова: «Когда ты научишься отпускать…»

Али не кивал, не торопил. Просто слушал.

— И я вдруг понял… я столько лет пытался удержать то, что уже давно ушло. Держал из упрямства. Из страха остать-

ся одному. А оказалось, самое трудное — это не тащить всё на себе. Самое трудное — признать, что ты не можешь сделать другого человека счастливым, если он сам этого не хочет.

Голос у него чуть дрогнул на последних словах, и он замолчал, сжал губы, будто ругал себя за эту слабость.

Но Али только чуть наклонил голову и спокойно сказал:

— Это не слабость, Давут. Это смелость. Признаться, что тебе больно, — это самое трудное. И самое честное.

Давут наконец поднял глаза. В них была усталость, но уже не та, что ломает, а та, что приходит после долгого пути. Будто он только что дошёл до места, где можно остановиться и выдохнуть.

— Мне сейчас очень тяжело, — произнёс он, и эти слова, сказанные вслух, будто сняли с него ещё один слой тяжести. — Я столько лет строил эту историю, а она оказалась не про нас двоих. Она была про мои ожидания.

Али протянул руку и положил её поверх кулака Давута — крепко, но без нажима. Как в те времена, когда они сидели в пустом актовом зале после провальных репетиций, и Али просто обнимал друга, не говоря ни слова.

— Ты не обязан её достраивать, — тихо, но твёрдо сказал Али. — Ты можешь оставить эту историю там, где она закончилась. А дальше будет новая. Не обязательно сразу счастливая. Но настоящая.

Мимо снова пронеслась чья-то лёгкая тень — девушка в

светлом платье, смеющаяся, с телефоном в руке. Где-то вдалеке снова заговорили про Джамилю, про её центр, про то, как она помогает детям. И этот чужой, но тёплый шум города будто напоминал: мир не рухнул. Он просто стал другим.

Давут медленно потянулся к чашке, сделал первый глоток. Чай был горячим, крепким, чуть горьковатым — как правда, которую наконец-то удалось принять.

— А знаешь, что самое странное? — тихо произнёс он после паузы. — Мне сейчас больно. Но… я впервые за долгое время чувствую, что дышу. По-настоящему. Без маски.

Али улыбнулся — той самой улыбкой, которая, как солнце, согревала даже в самые серые дни.

— Тогда давай просто посидим. Попьём чай. И не будем никуда спешить.

Вот улучшенная версия сцены с более чёткой структурой, выразительными репликами и естественными диалогами:

Спустя неделю Давут решил пожертвовать деньги в фонд центра для детей с ОВЗ. Выходя из здания, он направился к кофейне.

Мимо прошла девушка — красивая до боли знакомой линии плеч. Аромат её духов врезался в память: сладкий, настойчивый, как наваждение.

Давут вздрогнул, поворачиваясь вслед за запахом. Брови сошлись на переносице — раздражение смешалось с узнаванием.

— Что за навязчивый аромат… Опять она? Неужели нель-

зя пройти тише, незаметнее? — пробормотал он себе под нос, шагнув внутрь кафе.

Он бросил ей вслед раздражённо:

— Сколько раз просил — не «переформируйся», будто идёшь на премьеру! Всех отвлекаешь!

Это был Dior J'adore — лёгкий, цветочный, почти прозрачный. Запах воспоминаний. Давут замер. Взгляд смягчился лишь на секунду, затем снова стал жёстким. Он отвёл глаза, словно упрекая себя за слабость.

— J'adore… Лёгкий… Да, это он, — прошептал он еле слышно. — Глупо, конечно. Запах — и всё возвращается. Как будто время остановилось. Но это ничего не значит. Совсем ничего. Пора бы уже забыть.

Давут смотрел на неё. Иссиня-чёрные короткие волосы обрамляли лицо хищной птицы. Зелёные, болотные глаза цепляли душу намертво. На ней было тёмно-зелёное платье цвета грозового леса и туфли-лодочки. В руке — строгая сумка.

Давут прищурился, окидывая взглядом весь образ — медленно, цепко, будто вглядываясь не в одежду, а в намерение, стоящее за ней.

— Тёмно-зелёное... Как лес перед грозой, — произнёс он сухо усмехнувшись. — Шикарно. Очень. Даже слишком. Ты ведь знаешь, что я всегда ненавидел, когда ты одевалась как для меня. Или теперь — на меня?

Его пальцы сжались в кулак, голос дрогнул от напряже-

ния.

— И сумка, как щит. Всё ещё бежишь? Или уже воюешь?

Она была похожа на Айлин, но отличалась глубиной взгляда. Там, где у той горел красивый, но пустой огонь, здесь зияла бездна.

Давут вздохнул глубоко, будто внутри что-то оборвалось между памятью и настоящим.

— Да... ты не она.

Он посмотрел прямо в эти болотные глаза, в которых тонул без надежды выплыть.

— Глаза... они не играют. Не лгут. У Айлин был пожар — яркий, но выжигавший дотла. А в тебе... глубина. Как тёмный колодец, в который лучше не смотреть... а то потянет на дно.

Отводя взгляд, он провёл ладонью по лицу.

— Чёрт, зачем ты пришла? Зачем вообще так смотришь? Я не играю в игры. Ни с кем. И уж точно — не с теми, кто будит то, что должно спать вечным сном.

Девушка изящно пила матчу за столиком у окна, смеясь над чем-то вместе с подругами. Её смех красиво заполнял зал, вытесняя шум кофемашин.

— Как там твой центр, Джамиля? — спросила одна из подруг, Дуру, поправляя очки.

— Пока все хорошо. Работаем на славу, — улыбнулась Джамиля, отставляя чашку. — Дети сегодня сами украшали холл к празднику. Такое чудо…

— Ты совсем пропала после запуска проекта, — заметила вторая подруга, Лейла. — Мы тебя теряем для социума.

— Социум перетерпит, — мягко ответила Джамиля. — Зато малыши наконец получили сенсорную комнату.

Давут встал в проёме входа, замерев. Он наблюдал, как она держит чашку, как пальцы легко касаются фарфора, как медленно поднимается пар... Его взгляд стал жёстким, но в уголке глаза дрожала тень воспоминания.

— Матча... Ты даже пьёшь, как она.

Он подошёл ближе, голос низкий, вибрирующий, сдерживающий лавину.

— Говорят, восточные ритуалы успокаивают душу. А я смотрю на тебя — и чувствую, как моя только зажигается.

Давут остановился за её спиной.

— Ты нарочно? Нарочно делаешь всё так, будто вышла из моего сна? Или тебе просто наплевать — и ты не замечаешь, как разрываешь тишину вокруг?

Джамиля спокойно поправила помаду перед зеркальцем пудреницы.

Он резко схватился за край стола, костяшки побелели — его взгляд прикован к её губам, к этому движению, слишком знакомому и чужому одновременно.

— Помада... Красная. Как тогда.

Голос сорвался, в нём звучала ярость, смешанная с болью.

— Но ты даже этого не понимаешь, да? Каждое движение — будто нож. Не она. Ты не она... Но зачем, чёрт возьми, ты

воссоздаёшь её?!

Затем сделал резкий шаг назад, отгораживаясь пространством.

— Не смей играть со мной. Даже если сама не знаешь, что играешь.

Помада Джамили оказалась коричневой. Странно. Почему он представил именно красную?

Резкий вдох, заминка — этот цвет ломал цепь ассоциаций, сбивал программу памяти.

— Коричневая?..

Он медленно опустил взгляд, перезагружая мысли, потом чуть приподнял бровь — впервые за весь разговор в глазах мелькнуло искреннее, почти детское удивление.

— Чёрт... Я ошибся.

Голос стал тише, резкость испарилась — стена дала трещину.

— Не красная. Не она. Ты... совсем другая.

Он сделал один шаг вперёд, но уже не как угроза — как попытка увидеть истину сквозь туман.

— Прости. Иногда... прошлое шепчет громче, чем разум. А ты просто пила матчу. Просто поправила помаду.

И тут произошло непоправимое. Словно ведомый чужой рукой, Давут запустил пальцы в её густые чёрные волосы — жестом собственника, бесцеремонно, грубо. Он выглядел абсолютно уязвимым, потерявшим почву под ногами.

— Я слишком долго жил в воспоминаниях. А ты... ты, кажется, настоящая.

Реальность ударила хлёстко.

— Эй! — Джамиля вскочила, отталкивая стул. Лицо исказилось гневом. — Ты зачем тронул меня за волосы?! Я тебя даже не знаю! Охрана!

Давут внезапно отшатнулся, будто получил физический удар током. Глаза широко раскрыты от первобытного ужаса, лицо бледнеет.

— Что...? Я... Я не... Я не трогал тебя!

— Да ты издеваешься! — крикнула Джамиля, хватая сумку. — А я слепая по-твоему?! Руки убрал!

Она бросилась к выходу, подруги ошеломлённо смотрели вслед.

Он протянул руку вперёд, пытаясь остановить её уход или хотя бы извиниться, но воздух сомкнулся перед пустотой.

— Боже... Что со мной?..

Давут схватился за голову, пальцы впились в виски.

Мы только говорили... Я просто смотрел... А потом — будто провал. Минута, две..., и я стою с протянутой рукой, обвинённый в домогательстве?!

К нему подошла обеспокоенная Дуру:

— С вами всё в порядке? Она правда испугалась...

— Ты в своём уме? — прохрипел Давут, глядя сквозь неё. — Мы не говорили ни о чём. Тебе, наверное, привиделось.

— Нет, это вам привиделось, молодой человек! — отре-

зала Дуру. — Ведите себя прилично.

— Я не хотел. Я не тронул бы её. Ни за что. Клянусь здоровьем тех самых детей, которым только что помог, — произнёс он охрипшим голосом, полным паники и отчаяния. — Я понимаю, как это выглядит... Но я не... Я не такой.

Что со мной происходит? Почему я теряю контроль? Где заканчивается реальность и начинается мой личный ад?

Джамиля села в такси и спустя час была дома.

- Как он мог наглец? Как? Аааааааааа…ааа!

Она сняла верхнюю одежду и направилась в ванну. Горячие струи ударили по лицу, смывая не только косметику — казалось, вода пыталась стереть саму память об этом дне. Но перед глазами всё равно стояло его лицо: самодовольная ухмылка таксиста, когда он назвал сумму.

— С вас пять тысяч, красавица.

Джамиля похолодела.

— Сколько?! Там от силы на полторы! Вы кругами меня возили?!

— Пробки, дорогая. Сегодня день такой... золотой. Не нравится — полицию зови, — наглец вальяжно откинулся на спинку сиденья, демонстрируя полную безнаказанность.

Спорить было бесполезно. Денег едва хватило, оставив её с пустым кошельком и звенящей яростью внутри.

Она выключила воду. В зеркале над раковиной отражалась бледная, дрожащая от злости девушка с покрасневшими глазами. Полотенце упало на стиральную машину. Джа-

миля вышла из ванной, оставляя мокрые следы на ламинате.

Квартира встретила её тишиной. Тишиной, которая обычно успокаивала, но сейчас лишь усиливала пульсацию крови в висках. Ей нужно было выговориться. Немедленно.

Рука сама потянулась к смартфону, лежавшему на комоде. Палец скользнул по экрану, открывая мессенджер. Нужный чат был вверху списка.

«Ты не поверишь, что со мной случилось», — напечатала она трясущимися пальцами, прикрепляя скриншот приложения такси с безумным тарифом «сегодня-золотой-день».

Курсор мигал в поле ввода всего секунду. Ответ прилетел почти мгновенно, словно мама Yuhanna ждала сообщения:

Мама (Yuhanna):

Джами, золотце моё, только без паники. Дыши глубоко. Вдох... выдох...

Пять тысяч?! Да он совсем совесть потерял! Вах, бессовестный человек.

Скинь мне геолокацию этого таксопарка и его номер машины, если есть. Я сейчас же звоню своему двоюродному брату Рустаму, ты помнишь его? Он начальник службы безопасности как раз по транспортным перевозкам. Мы этого "золотого" наглеца из-под земли достанем, клянусь памятью отца.

Внизу уже появлялось уведомление о входящем видео звонке от мамы. Джамиля посмотрела на экран телефона, потом на своё отражение в тёмном окне. Вытерла мокрую

щёку ладонью, пытаясь успокоить дрожь, и приняла вызов.

Экран вспыхнул, и появилось лицо мамы. Yuhanna сидела в своём любимом кресле — Джамиля видела знакомый узор на спинке, — одетая в домашний халат, но с волосами, уложенными так идеально, словно она ждала гостей.

— Джамочка, говори! — голос матери звенел от напряжения и готовности к бою. Она прижала телефон крепче, будто боялась упустить хоть слово. — Я уже открыла контакты. Говори фамилию этого... шайтана!

— Мама, стой, погоди, — Джамиля невольно улыбнулась сквозь подступающие слёзы. Этот переход от «шайтана» до попытки найти его по фамилии базы был таким типичным для её семьи. — У меня нет его фамилии. Только номер машины: «Триста двадцать семь». И название агрегатора...

— Триста двадцать семь! — перебила её Yuhanna, делая пометку карандашом в блокноте, который всегда лежал у телефона. — Агрегатор я знаю какой, не маленькая. Сейчас мы посмотрим, кто там такой умный стал. Деньги он взял наличкой или списали?

— Наличкой, мама. Последние вытряс, представляешь? — голос девушки дрогнул. Злость снова начала закипать при воспоминании о пустом кошельке. — Мне завтра за квартиру платить, а у меня проезд только остался.

Лицо Yuhanna мгновенно изменилось. Материнская ярость уступила место острой, почти физической боли за

дочь. Она нахмурилась:

— Вай ме... Не волнуйся об этом ни секунды. Завтра папа переведёт, забудь. Это такие мелочи, дочка. Главное, что ты дома, целая.

Она сделала паузу, внимательно всматриваясь в экран, оценивая состояние Джамили.

— А теперь слушай сюда. Вытри слезы. Ты слышишь меня? Вытри сейчас же! — тон стал приказным, тем самым, которым она обычно запрещала болеть или грустить. — Нашла я твоего красавца. Рустик мой базу открыл. Машина числится за частником, работает через прокладку. Но ничего, они все там зарегистрированы как на ладони.

Yuhanna'nın хищно прищурилась:

— Мы ему рейтинг-то обнулим навсегда, обещаю. А пока иди сделай себе чай. Крепкий-сладкий. С лимоном. И мне скинь чек из приложения, если система всё-таки успела сформировать заказ до того, как он перешёл на "наличные". Нужно зафиксировать время подачи.

Джамиля почувствовала, как невидимый стальной обруч, стягивавший грудь, начал ослабевать. Рядом была мама. Значит, справимся.

— Хорошо, мамуль. Чайник поставлю. Спасибо тебе.

— Мамуле спасибо скажешь, когда я тебе его извинения голосом послушаю, — фыркнула Yuhanna'nın, но уголки её губ уже поползли вверх. — Всё, целую. Жду чек. Привет холодильнику.

Связь оборвалась. Джамиля опустила руку с телефоном. Квартира больше не казалась пустой и враждебной. На кухне уютно засвистел чайник, и этот простой бытовой звук прозвучал сейчас как самая лучшая музыка на свете.

Чай в красивой кружке остывал. Джамиля смотрела в окно, пытаясь разгадать загадку по имени «он». Его поступки были лишены всякого смысла, вызывая лишь раздражение. Так почему же при одном воспоминании о его хитрой улыбке, скрытой под густыми усами, и тёмных кудрях сердце предательски пропускало удар? Она зло захлопнула ноутбук.

- Хватит. Работа.

Стамбульский вечер встретил её гулом машин и запахом жареных каштанов. Её красивое пальто летело следом, пока она почти бежала по улице, прочь из своего центра. У перекрёстка она снова увидела его. Тот самый странный тип из кафе. Их взгляды на секунду встретились. И тут ветер донёс запах дыма. Это случилось мгновенно. Огонь вырвался из соседнего здания, словно голодный зверь, пожирая всё на своём пути. Началась паника. Всё полыхало. В этом хаосе только он не растерялся. Одним рывком он сбил её с ног, закрывая собой от падающих обломков, и потащил прочь.

— Нет! Мой центр! Моя работа! — кричала Джамиля, вырываясь из его стальной хватки.

Страх потерять всё, что строила годами, перерос в настоящую истерику. Слёзы, горькие и обжигающие, смешивались с копотью на лице. Она резко села на кровати. Темнота. Ти-

шина. Только мокрая от слёз подушка да рваный выдох, возвращающий в реальность. Это был всего лишь сон.

Она провела ладонью по лицу — и пальцы нащупали не копоть и не пепел, а просто влагу от слёз. Сердце колотилось где-то у самого горла, будто и правда только что вырывалось из огня.

«Всего лишь сон…» — повторила она про себя, как заклинание, но дрожь всё равно не унималась. Слишком живым он был, слишком настоящим: запах дыма, тяжесть чужого тела, прикрывшего её от падающих обломков, её собственный крик: «Нет! Мой центр!»

Джамиля встала, подошла к окну. За стеклом город спал, тихий и спокойный, без паники, без пламени. Лишь редкие фары машин скользили по асфальту, как спокойные, ровные мысли, которые постепенно вытесняли хаос кошмара.

Она глубоко вдохнула, пытаясь вернуть себе ощущение контроля. Сон был не просто про пожар. Он был про страх потерять всё, что она строила годами. Центр «Ben de yapabilirim» был не просто работой — он был её способом сказать миру: «Я могу. Я справляюсь. Я делаю что-то важное». И мысль о том, что это может исчезнуть в одно мгновение, пугала сильнее любого огня.

Телефон тихо звякнул на тумбочке. Джамиля вздрогнула, потом улыбнулась сквозь остатки тревоги — это был ответ от мамы.

Yuhanna: «Чек получила. Рустам уже в деле. Не пережи-

вай, золотце. Завтра всё будет хорошо. А сейчас — выпей воды и ложись. Ты устала. Я с тобой».

И от этих слов внутри что-то чуть-чуть расправилось. Не до конца, не сразу, но достаточно, чтобы снова почувствовать опору.

Джамиля налила стакан воды, сделала несколько глотков и вернулась к кровати. Прежде чем лечь, она открыла галерею на телефоне и пролистала фотографии: дети в центре смеются, кто-то держит поделку, кто-то обнимает её за талию, на стене — яркие плакаты, которые они рисовали вместе. На одном фото — она и маленькая Лейла, девочка с аутизмом, которая впервые за полгода посмотрела прямо в камеру и чуть улыбнулась. Джамиля тогда чуть не расплакалась от счастья.

«Это никуда не денется, — подумала она, глядя на экран. — Даже если приснится тысяча пожаров. Даже если кто-то будет пытаться всё испортить. Мы будем строить дальше».

Она легла, укрылась одеялом и закрыла глаза. Теперь сон уже не казался таким страшным. Он был просто криком её усталости, её тревоги, её страха не справиться. И теперь, когда этот крик прозвучал, стало легче.

А утром город встретил её не огнём, а обычным стамбульским шумом: где-то рядом торговец кричал: «Горячие симиты!», машины нетерпеливо гудели на перекрёстке, а в воздухе пахло кофе и морем. Джамиля надела пальто, проверила

сумку — документы, ключи, блокнот с расписанием занятий — и вышла за дверь.

На углу, как всегда, стоял тот самый уличный музыкант, который играл на скрипке мелодии, похожие на старые турецкие песни. Сегодня его музыка звучала не грустно, а как-то ободряюще — будто говорила: «День начинается. Ты справишься».

И тут она его снова увидела. Того странного парня из кафе — того самого, который мелькнул в её сне. Он стоял у киоска, покупал кофе, и на секунду их взгляды встретились. Джамиля замерла. В груди что-то ёкнуло — то ли от воспоминаний о сне, то ли от чего-то ещё, непонятного и нового.

Он чуть кивнул ей — не как знакомому, а скорее как человеку, которого заметил в толпе. Не навязчиво, без лишнего внимания. Просто: «Ты здесь. Я тебя вижу».

Джамиля хотела было отвернуться, сделать вид, что не заметила, но вместо этого вдруг слабо улыбнулась. Совсем чуть-чуть, почти незаметно. И пошла дальше.

И в этот момент ей вдруг пришло в голову, что сон мог быть не только про страх. Он мог быть ещё и про то, что рядом всегда есть кто-то, кто не даст упасть. Пусть даже ты его почти не знаешь. Пусть даже он просто стоит у киоска и пьёт кофе.

Центр ждал её. Дети ждали. И сегодня она войдёт туда не как человек, который боится всё потерять, а как человек, который знает: пока ты поднимаешься после падения — ты

не проиграл.

Джамиля толкнула дверь центра — и тут же её накрыло волной привычного, родного хаоса. Кто-то громко смеялся, кто-то спорил из-за фломастеров, а маленькая Эсма, увидев её, сорвалась с места и побежала навстречу, раскинув руки, будто хотела обнять весь мир.

— Джамиля-ханем! Мы ждали! Мы без тебя не начинали!

Джамиля присела, чтобы оказаться на уровне её глаз, и крепко обняла. В этом объятии не было ни страха, ни сомнений — только тепло, которое всегда возвращало её на землю.

— Ну как же без меня? Я же обещала: каждый день — новое приключение. Что у нас сегодня?

Эсма зашептала ей на ухо, будто доверяя огромную тайну:

— Мы делаем корабль. Он будет большой. И он поплывёт спасать всех, кто боится.

Джамиля улыбнулась, чувствуя, как внутри что-то тихо щёлкает на место.

— Тогда нам точно нужны самые яркие краски. Пойдём выбирать?

День закрутился в привычном ритме: занятия, игры, споры о том, какой цвет лучше, чьи пальцы в краске, кто первый будет клеить паруса. Джамиля успевала всё: и вытереть слёзы, и рассмешить, и напомнить, что ошибаться — нормально, что можно начать заново, если что-то не получилось.

К обеду она наконец смогла перевести дух и вышла на небольшую террасу, чтобы глотнуть воздуха. Город шумел

где-то за стенами центра, но здесь, среди детских голосов и запаха гуаши, он казался чуть тише, чуть добрее.

Она достала телефон, чтобы проверить сообщения, и вдруг заметила на подоконнике у двери конверт. Простой, белый, без подписи. Сердце на секунду замерло, а потом застучало быстрее.

«Только не опять, — подумала она. — Не ещё одна проблема, не ещё один человек, который хочет что-то от меня потребовать».

Но пальцы сами потянулись к конверту. Внутри — аккуратные, ровные строки, будто человек старался писать так, чтобы каждое слово было ясным, не оставляло места для домыслов.

«Я не пришёл, чтобы что-то доказывать или оправдываться. Я пришёл, чтобы сказать: я не хотел вас пугать. И я не помню того жеста. Но это не снимает с меня ответственности за то, как вы себя почувствовали.

Я сейчас прохожу обследование — не потому, что пытаюсь найти себе оправдание, а потому, что больше не хочу терять контроль над тем, что делаю.

И ещё… спасибо, что не закрыли дверь до конца. Даже если вы не приглашали меня — вы не сказали „ никогда “.

Если вы когда-нибудь решите, что нам стоит поговорить — я буду здесь. Если решите, что лучше забыть эту встречу, — я не стану напоминать.

С уважением, Давут».

Джамиля перечитала письмо дважды. Потом ещё раз. И только потом поняла, что стоит, прислонившись к стене, и дышит так, будто только что поднялась по крутой лестнице.

В нём не было попыток давить, не было «ты должна меня понять», не было оправданий, которые звучат как обвинения. Только честность — неудобная, колючая, но настоящая.

Она аккуратно сложила письмо и убрала в сумку. Не потому, что уже всё простила, а потому, что оно заслуживало места, где его не сметут в мусорку в минуту раздражения.

А Давут тем временем сидел в кабинете врача и пытался собрать себя по кусочкам. Он отвечал на вопросы, старался не пропускать ни слова, не прятаться за привычными «я в порядке».

— Вы говорите, что бывают провалы в памяти, — спокойно уточнил доктор, делая пометку в карте. — Опишите, пожалуйста, как это ощущается. Это похоже на то, что вы отвлекаетесь и не замечаете, как проходит время? Или это именно потеря осознания — будто выключают свет?

— Как будто выключают, — тихо признался Давут. — Я помню начало фразы, помню, что хочу что-то сказать, а потом — пустота. И когда «свет» включается, я уже стою в другой позе, или кто-то на меня смотрит так, будто я только что сделал что-то страшное.

Врач кивнул, не осуждая, не удивляясь.

— Это не редкость при сильном стрессе и переутомлении.

Но мы проверим всё: нервную систему, гормоны, исключим органические причины. Главное, что вы пришли. Это уже половина дела.

Давут впервые за долгое время почувствовал, как с плеч будто свалился тяжёлый мешок. Не весь, не до конца, но достаточно, чтобы снова начать дышать.

Вечером, когда центр опустел, и дети разошлись по домам, Джамиля сидела за своим столом и дорисовывала вместе с Эсмой тот самый корабль — теперь уже на большом листе бумаги. Девочка водила кистью медленно, старательно, будто вкладывала в каждый мазок что-то очень важное.

— Он будет спасать всех, кто боится, — снова прошептала она, будто проверяя, не забыла ли эту мысль.

— Да, — тихо согласилась Джамиля, глядя на яркие паруса. — Он будет спасать.

И в этот момент она вдруг поняла: этот корабль — не просто рисунок. Это то, чему она учит детей каждый день: даже если страшно, можно построить что-то, что поможет держаться на плаву. Можно не дать панике утянуть на дно.

Телефон тихо звякнул. Мама: «Как ты, моё солнышко? Чай выпила? Не сиди допоздна».

Джамиля улыбнулась и напечатала: «Всё хорошо, мамуль. Мы рисуем корабль. Он спасает всех, кто боится».

Ответ пришёл мгновенно: «Тогда он точно будет самым крепким на свете. Люблю тебя. До завтра».

Она убрала телефон и посмотрела на рисунок. И вдруг подумала: а что, если этот корабль может быть не только для детей? Что, если иногда и взрослым нужно знать, что есть место, где их не осудят за страх, где помогут подняться, если они упали?

В дверь снова тихо постучали. На пороге стоял Давут. На этот раз он не выглядел ни агрессивным, ни потерянным. Просто уставшим человеком, который пришёл не требовать, а спросить.

— Можно? — он чуть наклонил голову, будто заранее готов был принять отказ. — Я не хочу мешать. Но… я подумал, что, может, смогу помочь. Хоть с чем-то. С уборкой, с переноской коробок — с чем скажете.

Джамиля посмотрела на него. На его руки, которые сейчас спокойно лежали вдоль тела, не тянулись ни к чему, не пытались взять больше, чем разрешено. На его глаза, в которых не было ни вызова, ни попытки продавить.

Она вспомнила письмо. Вспомнила, как он не стал спорить, не стал оправдываться громкими словами. И вспомнила корабль, который они только что дорисовали.

— У нас завтра выставка работ детей в парке, — сказала она, сама не зная, почему произносит эти слова. — Нужно собрать рамы, подготовить таблички с именами. И…, наверное, кто-то должен стоять у входа и помогать тем, кто теряется.

Давут чуть выпрямился, будто эти простые задачи были

для него чем-то большим, чем просто помощь.

— Я могу. Честно. Я не подведу.

Джамиля кивнула. Не как хозяйка, которая даёт поручение, а как человек, который протягивает руку.

— Тогда приходите к восьми. И… возьмите с собой что-нибудь, что нравится детям. Шоколадку, наклейки — что угодно. Они чувствуют, когда человек приходит просто «отработать», а когда хочет быть здесь.

Он улыбнулся — впервые искренне, без напряжения.

— Спасибо.

Когда он ушёл, Джамиля ещё долго смотрела на закрытую дверь. И думала о том, что иногда самое сильное спасение — это не, когда кто-то закрывает тебя собой от огня, а когда он просто приходит и тихо говорит: «Я помогу нести».

А корабль на стене уже не казался просто детским рисунком. Он становился планом. Маршрутом. Обещанием, что никто не останется один на один со своим страхом.

Дома Джамиля заварила мятный чай, села на подоконник, подтянув колени к груди, и включила сериал. На экране появился актёр — тот самый, чьё лицо теперь будто преследовало её в реальной жизни. Давут Йылмаз. Фамилия звучала твёрдо, по-мужски, с лёгкой горчинкой, будто в ней пряталась целая история.

В сериале он играл крутого детектива, который не боялся ни бандитов, ни начальства, ни собственных демонов. Ирония судьбы: на экране он был собранным, расчётливым, уве-

ренным в каждом шаге, а в жизни… в жизни всё оказалось куда сложнее.

Джамиля смотрела, как Давут-детектив ловко расправляется с очередным злодеем, и не могла сдержать усмешку.

— Ну да, тут-то ты герой, — пробормотала она, отхлёбывая чай. — А в жизни…

Она не договорила. Не потому, что злилась, а потому, что вдруг поняла: быть героем — это ведь не только про то, чтобы сбивать врагов с ног. Быть героем — это ещё и про то, чтобы прийти, когда тебя не звали, и тихо спросить: «Можно я помогу?»

На экране Давут Йылмаз прищурился, будто разгадал чей-то коварный план. Джамиля вдруг поймала себя на мысли, что в этом прищуре есть что-то знакомое. Не то чтобы он был точно таким же, как у того Давута из кафе — нет. Но в нём была та же внутренняя собранность, тот же намёк на боль, которую он прятал за жёсткостью.

Телефон тихо звякнул. Это была Дуру, одна из подруг:

«Привет! Ты как? Прости, что тогда так резко на него наехала. Просто испугалась за тебя. Если хочешь, можем завтра вместе кофе выпить. Или вообще ничего не делать — просто посидеть и помолчать».

Джамиля улыбнулась. Иногда самое нужное слово — это не «я всё исправлю», а просто «я тут».

«Спасибо, — написала она. — Завтра не смогу — выставка в парке. Но потом обязательно. И… знаешь, он пришёл.

Помогать. Так что, может, не такой он и страшный».

Ответ прилетел почти сразу:

«Ну вот, значит, не всё потеряно. Держи в курсе. И если вдруг понадобится кто-то у входа, чтобы отгонять особо любопытных, — я готова!»

Джамиля рассмеялась и отложила телефон. На экране Давут Йылмаз как раз произносил финальную фразу серии:

— Правда всегда найдёт дорогу. Даже если ты её прячешь.

Она выключила телевизор, посидела ещё немного, глядя, как за окном гаснут огни Стамбула. И подумала, что, наверное, правда и правда находит дорогу — не громкими словами, не красивыми жестами, а маленькими шагами. Как у Давута, который пришёл и просто сказал: «Я не подведу».

Утром всё закрутилось с новой силой. Выставка должна была открыться в десять, а к восьми уже нужно было быть на месте: расставить стенды, развесить работы, разложить буклеты. Джамиля приехала пораньше, чтобы успеть всё подготовить до того, как начнут подтягиваться родители и гости.

И он пришёл ровно к восьми. Давут. В руках — коробка, из которой выглядывали разноцветные наклейки и маленькие шоколадки.

— Я подумал, что дети любят сюрпризы, — сказал он, чуть смущённо улыбаясь.

Джамиля кивнула, стараясь не показывать, как ей приятно, что он не забыл её слова.

— Спасибо. Это как раз то, что нужно.

Они работали рядом, почти не разговаривая, но в этом молчании уже не было напряжения. Он аккуратно собирал рамы, она крепила таблички с именами. Время от времени их руки случайно соприкасались, когда они тянулись за одним и тем же гвоздём или степлером, и каждый раз оба чуть вздрагивали — но тут же отводили глаза и продолжали работать.

К десяти парк наполнился людьми. Родители фотографировали работы, дети бегали между стендами, смеялись, хвастались друг другу, кто нарисовал самый большой корабль. Эсма подбежала к Джамиле, крепко обняла её за ногу и прошептала:

— Наш корабль всех спасёт!

— Конечно, спасёт, — улыбнулась Джамиля, гладя её по голове.

Давут стоял у входа, раздавал наклейки и тихонько подбадривал тех, кто стеснялся подойти к стендам. Одна маленькая девочка, увидев его, сначала спряталась за маму, а потом всё-таки решилась подойти. Он присел на корточки, чтобы оказаться с ней на одном уровне, и протянул наклейку с котиком.

— Это тебе. Он храбрый. Если вдруг станет страшно, просто вспомни, что он рядом.

Девочка осторожно взяла наклейку, посмотрела на него большими глазами и вдруг улыбнулась.

— Он мне нравится.

Давут улыбнулся в ответ. И в этот момент Джамиля поняла, что видит его впервые по-настоящему. Не того, кто напугал её в кафе, не того, о ком она думала в тревожных снах, а человека, который умеет быть терпеливым. Человека, который знает, как говорить с теми, кто боится.

Когда выставка закончилась и последние гости разошлись, они остались вдвоём собирать оставшиеся коробки.

— Знаешь, — сказала Джамиля, завязывая пакет с мусором. — Ты хорошо с ними ладишь. С детьми. Они это чувствуют.

Давут пожал плечами, будто не хотел придавать этому значения, но в глазах мелькнуло что-то похожее на гордость.

— Просто… я помню, как сам был таким. Боялся всего на свете. А потом кто-то просто сел рядом и сказал: «Ничего, мы вместе разберёмся».

Джамиля посмотрела на него. И вдруг решилась.

— Ты идёшь на приём к врачу?

Он кивнул.

— Да. Завтра. И… спасибо, что не стала делать вид, что ничего не было. Что не сказала: «Да ладно, забудь». Мне важно, что ты это видишь.

Она чуть улыбнулась.

— Мы все иногда теряемся. Главное — найти того, кто поможет собраться обратно.

Они вышли из парка и пошли рядом, не слишком близко,

но и не так, будто боялись друг друга. Ветер шевелил листья, где-то рядом торговец снова кричал: «Горячие симиты!», и этот привычный городской шум вдруг звучал как обещание: день продолжается, и в нём есть место и страху, и надежде, и маленьким шагам навстречу друг другу.

Они шли по набережной, и ветер с Босфора чуть трепал волосы Джамили. Она то и дело поглядывала на Давута — не исподтишка, а открыто, будто теперь ей разрешили его разглядывать. Он это замечал, но не отводил взгляд, просто чуть улыбался и кивал, как будто говорил: «Да, я тут. Я настоящий. Не из сериала».

— Знаешь, — сказала Джамиля, когда они свернули на её улицу, — вчера вечером я смотрела сериал. И там был актёр… Давут Йылмаз.

Давут на секунду замер, потом тихо рассмеялся — так, будто услышал что-то до смешного знакомое.

— А, этот. Да, я знаю. Мы с ним в одном агентстве были, ещё когда я только начинал. Потом наши пути разошлись: он пошёл в мелодрамы, а я… в никуда, в общем.

Джамиля остановилась. В груди что-то ёкнуло.

— То есть… ты и правда актёр?

Он пожал плечами, будто это было не самое важное в мире признание.

— Был. Какое-то время. А потом… перестал. Слишком много масок. Слишком легко было прятаться за чужой исто-

рией и делать вид, что своей нет.

Она смотрела на него и вдруг поняла, почему тот прищур на экране показался ей знакомым. Это был не просто актёрский приём. Это была его настоящая усталость, его настоящая собранность — та самая, которую он не прятал сегодня, когда собирал рамы и раздавал наклейки.

— Значит, тот крутой детектив — это не ты. А тот, кто боится забыть, что только что сделал, — это ты.

Давут кивнул. Без стыда. Без попытки оправдаться.

— Да. Это я. И я не хочу больше прятаться.

Они дошли до её подъезда. Джамиля остановилась у двери, достала ключи, но не спешила их вставлять.

— Спасибо тебе за сегодня. За то, что пришёл. За наклейки. За то, что не пытался казаться кем-то другим.

— Это мне спасибо, — тихо ответил он. — За то, что дала шанс не казаться.

Когда она зашла в квартиру и закрыла за собой дверь, то вдруг почувствовала, как уходит напряжение, копившееся неделями. Она скинула туфли, налила себе ещё мятного чая и села на тот же подоконник. Телефон тихо звякнул — Дуру прислала фото: чашка кофе, кусочек симита и подпись: «Держу за тебя кулачки. Выставка — огонь!»

Джамиля улыбнулась, открыла браузер и набрала: «Давут Йылмаз актёр». Листанула пару страниц, посмотрела интервью, старые афиши. А потом, почти не задумываясь, удалила историю поиска. Ей не хотелось знать про того, экранного.

Ей хотелось знать про этого — настоящего. Про того, кто сегодня стоял у входа на выставку и шептал маленькой девочке: «Если станет страшно — вспомни, что котик рядом».

На следующий день Давут пришёл на приём к врачу. Кабинет был светлым, спокойным, без лишней суеты. Доктор задавал вопросы, делал пометки, время от времени поднимал глаза и смотрел прямо — не осуждающе, а так, будто видел не только симптомы, а человека.

— Мы начнём с базовых анализов, — сказал он, заканчивая осмотр. — Стресс может давать очень яркие проявления. Но важно исключить всё остальное. И главное: вы уже сделали самое сложное. Вы пришли. Теперь мы будем двигаться шаг за шагом.

Давут вышел из клиники и глубоко вдохнул. Воздух пах дождём и кофе — как будто город давал ему знак: всё будет нормально. Он достал телефон и написал Джамиле:

«Приём прошёл. Ничего не решили за пять минут, но стало легче уже от того, что кто-то меня услышал. И от того, что сегодня снова можно прийти в центр. Если я там нужен».

Ответ пришёл почти сразу:

«Ты нужен. Даже если просто будешь стоять у входа и раздавать наклейки. Или просто посидишь в углу и попьёшь чай. Главное — что ты с нами».

Он улыбнулся, убрал телефон и пошёл по улице, чувствуя, как с каждым шагом земля становится чуть твёрже под ногами.

А в центре Джамиля как раз помогала детям клеить новую стенгазету. Эсма держала кисточку обеими руками и старательно выводила буквы: «МЫ — КОМАНДА».

— Красиво, правда? — спросила она у Джамили.

— Очень, — ответила та, присаживаясь рядом. — Знаешь, команда — это когда все держатся друг за друга. Даже если кто-то иногда теряется. Даже если кому-то нужно просто постоять в стороне и подышать.

Эсма на секунду задумалась, потом кивнула, как будто поняла что-то очень взрослое.

— Тогда пусть Давут будет с нами. Он хороший. Он дал мне котика.

Джамиля рассмеялась и обняла её.

— Да, он хороший. И он будет с нами.

И в этот момент она поняла: иногда самое важное спасение — это не когда кто-то закрывает тебя собой от огня. А когда ты просто можешь сказать ребёнку: «Мы команда». И когда кто-то взрослый тихо отвечает: «Я с вами».

******

Джамиля Караман. Фамилия звучала в стенах центра как тихий, но уверенный аккорд — её знали, её уважали, и не только из-за отца. Осман Караман был депутатом, человеком, который умел говорить с властью так, чтобы его слышали, и при этом никогда не забывал, что сила — в том, что-

бы помогать тем, кто не может пробиться сам. Когда Джамиля только начинала выбивать помещение под центр, именно его имя открывало двери, но удерживала она их уже сама — упорством, терпением и тем, как умела смотреть людям в глаза.

Давут пришёл в центр на следующий день рано, ещё до того, как начали собираться дети. Ему хотелось не мешать, не мельтешить, а просто быть полезным — хоть пол подмести, хоть коробки разобрать. Но сначала он хотел найти Джамилю, чтобы просто сказать: «Я здесь, если надо».

Он шёл по коридору, заглядывая в приоткрытые двери: тут комната для сенсорных занятий, там — игровая, дальше — кабинет с табличкой «Логопед». Он уже начал думать, что придётся спрашивать у кого-нибудь, как вдруг из приоткрытой двери донёсся знакомый голос:

— Эсма, подожди, давай сначала приклеим основание, а потом уже паруса… Да, вот так. Ты молодец!

Давут замер у двери. Внутри было светло, на стенах висели детские рисунки, на полках стояли поделки, а в центре комнаты на корточках сидела Джамиля, помогая девочке клеить картонный корабль.

Он тихо постучал по косяку. Джамиля подняла глаза, улыбнулась — не натянуто, а спокойно, будто так и должно быть, что он стоит на пороге.

— Привет. Ты рано.

— Хотел не мешать. Но… раз уж пришёл, может, помогу?

Она кивнула, будто это было самое естественное решение на свете.

— Помоги найти папку с заявками на грант. Она где-то на полке, но я её вчера так спрятала от самой себя, что теперь не могу найти.

Давут улыбнулся и принялся аккуратно перебирать стопки бумаг. И вдруг на одной из папок увидел надпись: «Караман Д. О.». Он замер на секунду, потом посмотрел на Джамилю.

— Караман… Осман Караман — это…

Джамиля чуть поморщилась, но без злости — скорее с усталой привычкой.

— Мой отец. Да. Все сначала смотрят на фамилию, потом на меня. А потом… иногда всё-таки на меня.

— Прости, — тихо сказал Давут. — Я не хотел. Просто… я слышал про него. Он многим помог.

— И мне помог, — просто ответила она. — Не тем, что открывал двери, а тем, что сказал однажды: «Если ты хочешь это делать — делай. А я буду рядом, если станет тяжело».

Давут кивнул. Ему вдруг стало легче дышать. Не потому, что фамилия объяснила что-то, а потому, что она сняла лишнее напряжение: Джамиля не пыталась казаться кем то другим. Она была дочерью уважаемого человека — и при этом

стояла на коленях перед девочкой и клеила корабль.

А через два дня случилось то, чего никто не ждал. Давуту позвонил старый знакомый из киноиндустрии — продюсер, с которым они когда-то снимали короткий метр.

— Давут, слушай, у нас проект. Фильм про детей с ОВЗ и детдом. История не про жалость, а про силу. Про то, как ребёнок учится не прятаться от мира, а разговаривать с ним. И нам нужен актёр, который умеет быть рядом — не играть «доброго дядю», а быть настоящим.

Давут молчал, чувствуя, как внутри что-то дрожит — то ли от страха, то ли от надежды.

— Я… сейчас не в лучшей форме, — честно сказал он. — У меня… проблемы. С памятью. С контролем.

— Именно поэтому, — спокойно ответил продюсер. — Нам не нужен идеальный. Нам нужен тот, кто знает, как бывает страшно потерять опору. Тот, кто умеет её искать. Подумай. Сценарий пришлю.

Когда Давут положил трубку, он долго сидел, глядя на экран телефона. Потом написал Джамиле:

«Мне предложили роль. В фильме про детей. Не знаю, смогу ли. Но впервые за долгое время не хочется сразу сказать „нет “».

Ответ пришёл быстро:

«Не решай сейчас. Приходи в центр. Посиди с нами. Посмотри, как они живут. Если после этого скажешь „да“ — я буду рада. Если скажешь „нет“ — я тоже буду рада, что ты

просто посидел с нами и подышал».

И он пришёл. Не как актёр, не как герой, а как человек, который хочет быть полезен. Он сел в уголке, наблюдал, как Джамиля мягко, но уверенно ведёт занятие, как дети то срываются с места, то замирают, будто мир слишком громкий, а она каждый раз находит слово, которое делает мир чуть тише.

Эсма подошла к нему и протянула рисунок.

— Это тебе. Тут ты. Ты стоишь у входа и держишь котика. Чтобы никто не боялся.

Давут взял рисунок, и в горле встал комок.

— Спасибо, Эсма. Я буду его беречь.

В тот вечер он долго не мог уснуть. Перед глазами стоял сценарий, который прислали, и этот детский рисунок, где он — не крутой детектив, не спаситель, а просто человек у двери с котиком в руке. И вдруг он понял: может быть, именно это и есть роль, которую он готов сыграть — не прячась, не притворяясь, а честно.

На следующее утро он зашёл в кабинет Джамили, постучал, хотя дверь была открыта.

— Можно?

— Конечно, — она подняла глаза от бумаг, улыбнулась. — Что-то случилось?

— Мне предложили роль. В фильме. Про детей. Я… хочу её взять. Но мне страшно. Боюсь, что в какой-то момент…

снова потеряю контроль. И испорчу всё.

Джамиля встала, обошла стол и остановилась напротив него. Не близко, но и не отстранённо.

— Тогда мы сделаем так. Ты будешь приходить сюда. Между съёмками, между репетициями. Здесь не нужно быть идеальным. Здесь можно быть уставшим, растерянным, можно сказать: „Я не знаю, что делать “. И мы просто будем рядом.

Давут сглотнул.

— Ты… не боишься, что я снова сделаю что-то не, то?

— Боюсь, — честно ответила она. — Но я больше боюсь не дать тебе шанса.

Он кивнул. И впервые за долгое время почувствовал, что у него есть не только проблема, которую надо решить, но и опора, на которую можно опереться.

Съёмки начались через месяц. Давут играл воспитателя в детском доме — человека, который не кричит, когда хочется кричать, и садится на пол, чтобы оказаться на уровне детского взгляда. Он не старался быть лучше, чем он есть. И именно поэтому ему верили. Даже дети на площадке — те, кто играл воспитанников, — подходили к нему между дублями и тихо спрашивали:

— А ты правда такой? Не только в кино?

— Правда, — улыбался он. — Просто учусь быть таким каждый день.

А Джамиля приходила на площадку, когда могла. Прино-

сила термосы с чаем, коробки с наклейками, иногда просто стояла в стороне и смотрела, как он говорит с детьми — уже не как актёр, а как человек, которому есть что им дать.

Однажды после смены он подошёл к ней, уставший, с тёмными кругами под глазами, но с каким-то новым спокойствием внутри.

— Знаешь, я понял одну вещь. Раньше я думал, что быть героем — значит не бояться. А теперь понимаю: быть героем — это бояться и всё равно делать. Как ты каждый день в своём центре.

Джамиля улыбнулась и протянула ему чашку чая.

— Тогда мы с тобой оба герои. Просто у нас разные сцены.

И они стояли рядом, глядя, как солнце садится за крыши Стамбула, и понимали: путь ещё не закончен, но теперь они идут по нему не в одиночку.

На следующий день в центре было шумно, как всегда, но в этом шуме у каждого звука было своё место: скрип стула, чей-то смех, шелест бумаги, торопливые шаги по коридору. Джамиля стояла у двери сенсорной комнаты и смотрела, как Мехмед ходит вдоль стены, не глядя ни на кого, сжимая кулаки так, что побелели костяшки.

Мехмед был мальчиком, который жил в мире, где слишком много всего: слишком яркий свет, слишком громкие голоса, слишком много чужих взглядов. И когда мир становился невыносимым, он кричал. Или кусался. Или падал на пол

и закрывал голову руками.

Сегодня мир был особенно громким. Кто-то уронил поднос в столовой, и этот звук, обычный для всех, для Мехмеда стал ударом. Он вздрогнул, будто его обожгло, и вдруг рванулся вперёд — не к выходу, а прямо туда, где стояла Джамиля.

— Не надо! — выкрикнул кто-то из волонтёров.

Но Джамиля не отступила. Она не сделала шага навстречу, не попыталась схватить его, не стала говорить «успокойся» — потому что знала: в такие минуты «успокойся» звучит как предательство.

Она опустилась на корточки, не поднимая глаз прямо на него, а чуть в сторону — так, чтобы не быть угрозой, не быть тем, кто требует смотреть.

— Мехмед, — тихо сказала она, ровно, без спешки. — Я тут. Свет сегодня слишком яркий. И звук был такой, будто кто-то хлопнул дверью, хотя никто не хлопал. Я знаю. Это неприятно. Очень.

Он замер на секунду, тяжело дыша, и в этот момент весь центр будто затаил дыхание. Даже дети, которые обычно не замечали ничего, кроме своих игр, притихли.

Мехмед дёрнул плечом, потом снова сжал кулаки, и Джамиля увидела, как он кусает губу изнутри — так, будто пытался удержать крик, но тот всё равно рвался наружу.

— Если хочешь кричать — кричи, — сказала она всё так

же тихо. — Но если хочешь, мы можем пойти туда, где тише. Где нет этого света. Где можно просто посидеть.

Он не ответил. Но и не бросился вперёд. Он стоял, будто между двумя порывами: одним — сбежать, другим — найти хоть что-то, за что можно ухватиться.

И тогда Джамиля сделала самое простое и самое трудное: она не стала ничего обещать. Не стала тянуть его. Просто сняла свой шарф — мягкий, тёмно синий, без узоров, без лишних деталей — и положила его на пол между ними.

— Это мой шарф. Если станет совсем плохо, можешь его сжать. Или завернуться. Или просто потрогать. Он тихий. В нём нет ничего резкого.

Мехмед посмотрел на шарф. Потом на неё. И в этом взгляде не было ни доверия, ни покорности — только вопрос: «А ты не обманешь?»

— Я не буду тебя трогать, — пообещала она. — Пока ты сам не захочешь.

Прошло ещё несколько секунд. Джамиля сидела на корточках, чувствуя, как затекает спина, но не двигаясь. Потому что в такие моменты любое движение — это риск.

И вдруг Мехмед шагнул. Не к ней. К шарфу. Наклонился, поднял его, прижал к лицу. И замер, вдыхая запах, который не пах ничем особенным, но был знакомым.

— Вот так, — прошептала Джамиля. — Если хочешь, пойдём в сенсорную комнату. Там мы выключим верхний свет. Там тихо. И там никто не будет тебя торопить.

Он кивнул. Один короткий кивок — будто боялся, что если сделает его слишком явно, то всё исчезнет.

Они пошли рядом, не держась за руки, но и не далеко друг от друга. Джамиля шла медленно, ровно, так, чтобы её шаг совпадал с его ритмом. В комнате она села на мягкий мат, не приглашая его сесть рядом, просто давая ему понять: «Здесь можно быть».

Мехмед сел, не выпуская шарф, и прислонился спиной к стене. Его плечи всё ещё вздрагивали, но крик уже не рвался наружу. Вместо этого он тихо, прерывисто дышал, и каждый выдох был как маленький шаг назад от края.

Через какое то время он достал из кармана маленький гладкий камешек — свой «предмет успокоения», который всегда носил с собой. Повертел его в пальцах, потом вдруг протянул Джамиле.

Не как подарок. А как знак: «Я помню, что ты здесь».

Джамиля взяла камешек, посмотрела на него, потом вернула.

— Спасибо, что показал. Он хороший. Пусть будет с тобой.

Мехмед кивнул и спрятал его обратно. И впервые за утро его пальцы разжались.

Позже, когда он уже спокойно раскрашивал картинку в углу комнаты, к Джамиле подошла молодая стажёрка, бледная, с дрожащими руками.

— Как ты это делаешь? — прошептала она. — Я бы не смогла. Я бы испугалась.

Джамиля устало улыбнулась.

— Я тоже боюсь. Каждый раз. Но я знаю: если я покажу свой страх как приказ «остановись», он станет для него ещё громче. А если я покажу его как «я тут, даже если мне страшно», то у него появляется опора.

Стажёрка кивнула, будто пыталась запомнить эти слова, как заклинание.

А вечером, когда центр опустел, и последние родители забрали детей, Джамиля села за свой стол и только тогда почувствовала, как дрожат её собственные руки. Она прижала их к лицу, пытаясь унять эту дрожь, и вдруг поняла, что плачет — не от усталости, а от того, что сегодня получилось. Что Мехмед не укусил. Что он не убежал. Что он дал ей крошечный, почти незаметный знак доверия.

Телефон тихо звякнул. Это был Давут:

«Съёмки закончились. Сегодня был тяжёлый дубль. Я забыл реплику. Просто стоял и смотрел в камеру, и в голове — пустота. Но режиссёр не стал кричать. Он сказал: „Остановимся. Передохнём “. И я вдруг понял: это нормально. Нормально иногда не помнить. Главное — не оставаться с этим одному. Как твой день?»

Джамиля улыбнулась сквозь слёзы и написала:

«Сегодня Мехмед дал мне свой камешек. Просто на секунду. Как будто сказал: „Ты не чужая “. Так что день был

тяжёлый. Но хороший».

Ответ пришёл быстро:

«Ты делаешь самое сложное. То, что нельзя сыграть. То, чему нельзя научиться по сценарию. Я приеду. Привезу чай. Если хочешь, просто посидим. Если хочешь, расскажешь. Или вообще ничего».

И через полчаса он действительно пришёл. С термосом, с двумя кружками, с пакетом, в котором лежали маленькие шоколадки — не для детей, а просто так, на всякий случай.

Они сели на террасе, где уже стемнело, и только редкие фонари бросали на пол жёлтые квадраты света.

— Знаешь, — сказал Давут, наливая чай, — на съёмках сегодня один мальчик, который играл воспитанника детдома, подошёл ко мне после сцены и сказал: «Ты не притворяешься». Я даже не понял сначала, что он имеет в виду. А потом понял: он почувствовал, что я не пытаюсь быть кем-то другим. Что я просто стараюсь быть рядом.

Джамиля кивнула.

— Дети это чувствуют. Они не верят красивым словам. Они верят тишине. И тому, что ты не отводишь взгляд, когда им страшно.

Давут помолчал, глядя на тёмную воду Босфора вдалеке.

— А ты… ты каждый день так. С Мехмедом. С остальными. Ты не отводишь взгляд.

— Стараюсь, — тихо ответила она. — Иногда не получается. Иногда я тоже хочу убежать. Но тогда я вспоминаю: ес-

ли я убегу, кто останется?

Он протянул ей кружку.

— Сегодня остался я.

И они сидели так, пока не остыл чай, пока город не стал совсем тихим, и в этой тишине уже не было напряжения, а было что-то похожее на покой.

На следующий день Мехмед пришёл в центр и первым делом подошёл к Джамиле. Не бросился, не закричал, а просто остановился рядом и протянул ей тот самый камешек.

— Держи.

Это было не «навсегда». Это было «сейчас я хочу, чтобы он был у тебя».

Джамиля осторожно взяла камешек, улыбнулась и положила его в карман своего кардигана.

— Спасибо. Я буду его беречь. А когда станет нужно — верну.

Мехмед кивнул. И пошёл к столу, где его уже ждали краски и бумага.

А Джамиля посмотрела вслед и подумала: вот оно. Не победа. Не исправление. А маленький, хрупкий мостик. И если каждый день строить по одной дощечке, однажды по нему можно будет пройти.

Дверь приоткрылась, и Джамиля, не поднимая головы резко, не глядя прямо в глаза, тихо сказала:

— Доброе утро. Если хотите, можете постоять у порога.

Или войти. Или вообще уйти, если сейчас не время. Здесь нет правил «надо».

Небахат стояла в дверях, прижимая к себе Гомзе, которая прятала лицо у неё в плече, вцепившись в ткань платья так, что побелели пальчики. В её сжатых кулачках был зажат маленький потрёпанный плюшевый слоник — единственная вещь, рядом с которой она хоть немного чувствовала себя в безопасности.

— Простите, — прошептала Небахат, голос дрожал, будто она вот-вот сорвётся на плач. — Она… она обычно не даётся никому. Даже парикмахеру мы не можем сходить.

Джамиля кивнула, не пытаясь ничего обещать.

— Я не буду к ней подходить. Пусть сначала посмотрит на комнату. Пусть поймёт, что тут никто не торопит.

Прошло несколько минут. Гомзе не поднимала головы, но понемногу перестала вжиматься в маму — будто проверяла: правда ли тут тихо? Правда ли никто не тянет руки?

Джамиля медленно, очень медленно достала из ящика стола плоскую деревянную коробочку. Открыла её — внутри лежали гладкие камушки, пара деревянных фигурок без острых краёв, кусочек мягкой ткани. Она не протянула коробку, не поманила. Просто оставила её на полу, в метре от порога, и снова села на пол, скрестив ноги.

— Тут есть вещи, которые приятно трогать. Если захочется — можно взять. А можно просто смотреть.

Ещё минута. Другая. И вдруг Гомзе чуть повернула голову

— совсем на чуть-чуть, как будто боялась, что если посмотрит открыто, всё исчезнет. Она увидела коробочку. Замерла. Потом потянулась к ней, не выпуская слоника, и вытащила один камешек. Подержала его в пальцах, покатала, прижала к щеке.

Небахат тихо всхлипнула и тут же прикрыла рот ладонью, будто испугалась, что звук спугнёт этот хрупкий момент.

— Всё хорошо, — так же тихо сказала Джамиля. — Можно плакать. Можно дышать громко. Тут можно быть любым.

Гомзе села на пол, не отпуская слоника и не выпуская камешек, и начала тихонько раскачиваться — туда-сюда, туда-сюда. Это был её способ держать мир на месте, когда он становился слишком большим.

Джамиля не пыталась её остановить. Она знала: если запретить раскачиваться, тревога только вырастет. Вместо этого она начала делать то же самое — очень медленно, едва заметно, будто эхо: чуть покачивалась в такт, не глядя на девочку, а глядя на свои руки, на пол, на коробочку.

Через какое-то время Гомзе перестала раскачиваться так сильно. Её плечи чуть опустились. Она положила камешек рядом с собой и снова прижалась к маме.

— Мы посидим тут немного, — сказала Джамиля Небахат. — Сколько нужно. Хоть пять минут. Хоть час.

И они сидели. Тихо. Без лишних слов. Только иногда Джамиля брала ещё один камешек и клала его чуть ближе к Гом-

зе — не навязывая, а просто оставляя возможность: «Если захочешь — он тут».

Когда Гомзе наконец уснула, прижавшись к маме на мягком мате, Небахат подняла на Джамилю глаза, полные слёз и такой усталости, будто она не спала несколько ночей подряд.

— Я каждый день боюсь, — прошептала она. — Боюсь, что ей нигде не будет места. Что она всегда будет «слишком». Слишком громкая. Слишком странная. Слишком… не такая. И я боюсь, что однажды кто-то скажет мне: «Заберите её, она мешает».

Джамиля села рядом, не слишком близко, чтобы не нарушить хрупкое равновесие, но так, чтобы Небахат чувствовала: она не одна.

— Никто здесь не скажет «заберите», — спокойно, твёрдо произнесла она. — Если кто-то и скажет что-то подобное, я буду первой, кто встанет между ними и вами. Но знаешь, что самое трудное? Не чужие слова. Самое трудное — это когда ты сама начинаешь верить, что она «слишком». Что ты плохая мама, потому что не можешь её успокоить.

Небахат опустила голову, и слёзы закапали на рукав.

— Да. Я так думаю. Каждый раз, когда она кричит, я думаю: я что-то делаю не так.

— Ты делаешь всё так, — тихо сказала Джамиля. — Ты держишь её. Ты не бросаешь. Ты приходишь, даже когда страшно. А это самое главное. Остальное — мелочи.

Небахат всхлипнула, потом попыталась улыбнуться

сквозь слёзы.

— Спасибо, что не говоришь «всё будет хорошо». Я устала от «всё будет хорошо». Мне нужно, чтобы кто-то сказал: «Я вижу, как тебе тяжело. И ты не одна».

— Ты не одна, — повторила Джамиля. — И она не одна. У нас тут много «не таких». И именно поэтому тут им и место.

Позже, когда Гомзе проснулась и начала тихонько перебирать камешки, Джамиля показала ей простую игру: катать камешек по ладони, считать, сколько раз он сделает круг, прежде чем упасть. Гомзе делала это медленно, сосредоточенно, будто в этом движении был весь смысл мира.

А потом, неожиданно, она подняла глаза на Джамилю. Не долго. Не прямо. На секунду. Но этого хватило.

И Джамиля улыбнулась — не широко, не радостно, а спокойно, как будто говорила: «Я тут. Ты можешь смотреть. Или не смотреть. Всё нормально».

Вечером, когда центр опустел, Джамиля сидела за своим столом и пыталась собраться с мыслями. Руки всё ещё слегка дрожали от напряжения — каждый такой день забирал силы, но и давал что-то взамен: крошечную победу, которую никто, кроме неё, может и не заметит.

Телефон тихо звякнул. Давут:

«Сегодня на съёмках был момент, когда я забыл, где стою. Просто стоял и смотрел в камеру, и в голове — пустота. Но режиссёр не стал кричать. Он сказал: „Остановимся. Пере-

дохнём “. И я вдруг понял: иногда самое важное слово — это не „давай быстрее “, а „постой, подыши “. Как ты?»

Джамиля улыбнулась, чувствуя, как внутри что-то тихо щёлкает на место

«Сегодня Гомзе посмотрела на меня. На одну секунду. Но я её увидела. И мама её плакала, но уже не от отчаяния, а потому что её наконец услышали. Так что день был тяжёлый. Но хороший».

Ответ пришёл почти сразу:

«Ты делаешь то, что никто не видит, но без чего всё рушится. Держись.»

Джамиля ещё посидела, глядя на эти слова, будто они были тёплым пледом, наброшенным на плечи в холодный вечер. Потом напечатала:

«Спасибо. Знаешь, сегодня я вдруг подумала: если бы кто-то так же сказал мне хоть раз, когда я была маленькой и всё казалось слишком большим — я бы, наверное, быстрее научилась дышать».

Через минуту телефон снова тихо звякнул.

«А как ты этому научилась? — написал Давут. — Как ты понимаешь, где надо сесть, где не смотреть, где просто положить камешек на пол? Это какая-то методика? Или… ты просто чувствуешь?»

Джамиля улыбнулась, отложила телефон и на секунду закрыла глаза, вспоминая. Перед внутренним взором встала её детская комната, пахнущая корицей и старыми книгами,

и мама, которая всегда говорила: «Люди не всегда говорят словами, доченька. Смотри на тишину между ними».

Она снова взяла телефон и начала печатать, подбирая слова так, чтобы они легли ровно, без пафоса, просто как правда.

«Это не методика. Ну, не совсем. Я с детства чувствую энергетику людей — как тепло и холод. Холод — значит, человек боится, закрыт, будто натянул на себя ледяную броню. Тепло — значит, есть хоть крошечная щель, куда можно просунуть слово, не сломав.

А ещё я читаю эмоции по глазам. Не как психолог, а как… ну, как будто вижу глубже. Не то, что человек хочет показать, а то, что прячется под этим. У Гомзе глаза сегодня были как два тёмных озера — в них плескался страх, но где-то на дне уже пробивался тихий свет. И я знала: нельзя торопить этот свет. Он сам выйдет, если не дуть на него, как на уголёк.

У Мехмеда — по-другому. В его взгляде — будто шторм, который ищет берег. И когда он дал мне камешек, я увидела: он нашёл кусочек берега. Пусть маленький. Но свой.

Я не спасаю их. Я просто стою там, где берег. И жду».

Она нажала «отправить» и вдруг почувствовала, как уходит напряжение, которое копилось весь день. Словно, рассказав это, она не выдала какой-то секрет, а наконец назвала вещи своими именами.

Ответ пришёл не сразу. Джамиля успела налить себе ещё чая и сесть на подоконник, поджав ноги, как в тот вечер, ко-

гда смотрела сериал про актёра-детектива. Теперь ей казалось смешным, что она тогда думала, будто героизм — это когда сбивают врагов с ног. Настоящий героизм сидел где-то в тишине, в умении ждать, в том, чтобы положить камешек на пол и сказать: «Он тут. Если понадобится».

Наконец телефон звякнул снова.

«Теперь я понимаю, почему центр для тебя — не работа, а дом. Ты строишь эти берега. И знаешь, что самое странное? Я начинаю понемногу чувствовать то же самое. Не так, как ты. У меня нет этого „тепла и холода“. Но я учусь видеть, где человеку больно. На съёмках сегодня один мальчик — он играет сироту — после дубля подошёл ко мне и тихо сказал: „А ты не притворяешься, что всё хорошо“. И я вдруг понял: ему не нужно было, чтобы я его хлопал по плечу и говорил: „Ты молодец“. Ему нужно было, чтобы я просто кивнул и сказал: „Да, это было тяжело. Побудь с этим“».

Джамиля улыбнулась. В этом «побудь с этим» было столько правды, что на глаза снова навернулись слёзы — но уже не от усталости, а от какого-то тихого, согревающего облегчения.

«Именно так, — написала она. — Не забирай чужую тяжесть. Просто посиди рядом, пока человек её держит. Иногда этого достаточно, чтобы плечи чуть опустились и стало легче дышать».

«Я учусь этому, — ответил Давут. — И знаешь… спаси-

бо, что рассказываешь. Мне это важно. Без этого я бы снова пытался быть тем крутым парнем с экрана. А я хочу быть настоящим. Тем, кто может просто посидеть и подышать рядом».

Давут шёл по набережной, и город будто подстраивался под его шаг — не торопил, не тянул вперёд, а позволял идти в своём ритме. Он заранее договорился с Али встретиться у старого кафе, где пахло жареными булочками и крепким кофе, а столики стояли так близко, что чужие разговоры сплетались в один общий гул — уютный, почти домашний.

Али уже сидел за столиком у самой воды, перед ним лежали листы бумаги, исчёрканные пометками, и стоял стакан айрана. Увидев Давута, он поднял голову, улыбнулся и махнул рукой:

— Наконец-то. Я уже начал думать, что ты растворился в своей роли. Садись. Рассказывай, что с тобой происходит — вижу же, что глаза другие. Не пустые. Усталые, но живые.

Давут сел, заказал себе чёрный чай без сахара и какое-то время просто смотрел на воду, будто искал в отражении нужные слова. Они с Али писали сценарий про Бурака Канбира уже два месяца, и за это время история из простой драмы про забытого актёра становилась чем-то большим — в ней всё чаще проступали настоящие чувства, настоящие страхи, настоящие мгновения, когда человек остаётся один на один со своей слабостью.

— Знаешь, я ведь после той истории в кафе… ну, когда

впервые увидел Джамилю… пошёл к врачу, — тихо начал Давут. — Не сразу. Сначала прятался. Делал вид, что всё нормально. А потом понял: если я и дальше буду забывать, где оставил ключи, что хотел сказать в середине фразы, какие сцены мы уже сняли, — я подведу всех. И себя в первую очередь.

Али перестал черкать в блокноте, отложил ручку и посмотрел на него внимательно, без суеты.

— И что сказал врач?

— Что это не приговор. Что стресс, переутомление, старые травмы могут давать такие симптомы. Что нужно время, режим, поддержка. И ещё он сказал одну вещь, которая меня зацепила: «Вы не обязаны быть героем каждую минуту. Иногда герой — это тот, кто вовремя сказал: мне нужна помощь».

Али кивнул, будто эти слова ему тоже были нужны.

— Это самое трудное. Признаться, что тебе тяжело. Особенно когда все вокруг ждут, что ты будешь сильным.

— Именно, — тихо сказал Давут. — И вот… есть Джамиля. Она не ждёт от меня силы. Она просто говорит: «Ты можешь быть уставшим. Ты можешь забыть. Я тут». И от этого как будто земля становится твёрже.

Али чуть наклонил голову, прищурился — так он делал всегда, когда начинал видеть в чужом рассказе зерно истории.

— А какая она? Расскажи. Не про «она хорошая», а про то, что ты видишь.

Давут задумался, подбирая слова так, чтобы они не звучали как восторженное признание, а оставались честными.

— Она похожа на Айлин. Внешне. Та же линия скул, тот же изгиб бровей, даже то, как она чуть наклоняет голову, когда слушает. Но внутри — совсем другая. Айлин всегда хотела, чтобы её спасали, чтобы ради неё ломали стены. А Джамиля… она сама строит стены. Для других. Для детей, которым страшно. Она не просит: «Забери мою боль». Она говорит: «Я подержу её, пока ты дышишь».

Али медленно кивнул, взял карандаш и начал что-то быстро записывать.

— Слушай… а если мы это вставим? В сценарий про Бурака Канвира. Представь: он одинокий актёр, который боится, что его забыли. Боится, что если он перестанет быть «тем самым», то его вообще не станет. И вот он встречает женщину, которая не восхищается им, не просит автограф, не хочет, чтобы он играл для неё героя. Она просто видит его уставшие глаза и говорит: «Садись. Я налью тебе чаю. Можешь не быть никем сегодня».

Давут почувствовал, как внутри что-то тихо щёлкнуло на место.

— Да. Именно так. И знаешь, что самое важное? Она не делает из этого подвига. Для неё это не «я спасаю тебя». Для неё это «мы сидим и дышим».

Али улыбнулся, постучал карандашом по столу.

— Тогда давай напишем эту сцену. Пусть Бурак впервые за долгое время снимет маску не потому, что его заставили, а потому, что рядом есть кто-то, кому маска не нужна.

Они склонились над листами, и Давут вдруг поймал себя на том, что рассказывает не только про сценарий, но и про Гомзе, которая сжимает слоника и смотрит на камешек, про Мехмеда, который доверяет настолько, что протягивает свой самый ценный предмет, про Небахат, чьи плечи хоть на минуту опускаются, потому что её наконец услышали.

— Ты это всё видишь, — тихо сказал Али, когда Давут замолчал. — Не как актёр, который подглядывает за жизнью, чтобы потом сыграть. А как человек, который в этой жизни стоит. И это самое ценное, что ты можешь принести в роль.

Давут кивнул. И впервые за долгое время почувствовал, что не просто «держится». Что он действительно становится частью чего-то настоящего.

Когда они закончили, солнце уже садилось, и набережная наполнялась мягким золотистым светом. Али собрал листы, аккуратно сложил их в папку и хлопнул Давута по плечу — не сильно, не по-дружески небрежно, а так, чтобы тот почувствовал: он не один.

— Спасибо, что поделился. Это сделает сценарий живым. Не глянцевым. Настоящим.

Давут улыбнулся.

— Спасибо, что слушал. Иногда просто выговориться — это уже половина тяжести с плеч.

И когда она отложила телефон, то вдруг поняла, что сегодня впервые за долгое время не проверяла трижды, закрыта ли дверь, не перечитывала пять раз одно и то же письмо, не пыталась удержать в голове все дела сразу. Потому что где-то в городе был человек, который не требовал от неё быть сильнее, чем она есть. Который просто писал: «Я тут. Расскажи про обычный день».

А в центре, на полке, рядом с коробочкой с камешками, лежал тот самый камешек, который дал ей Мехмед. Джамиля иногда брала его в руку, чувствовала его гладкость и думала: вот он, кусочек берега. Маленький, но настоящий. И если каждый день добавлять по одному такому камешку, однажды получится целая дорога.

******

Давут шёл по набережной уже в сумерках, когда город зажигал огни не спеша, будто давал себе время передохнуть после шумного дня. Он думал о словах Али, о сценах, которые они набросали, и всё время возвращался к одной мысли — к тому, как странно устроена память: она цепляется за похожие лица, за знакомые изгибы, за тени старых историй, будто пытается подменить новое привычным.

Он остановился у перил, положил ладони на тёплый ещё металл и посмотрел на тёмную воду. Джамиля и правда была похожа на Айлин. Если смотреть быстро, мельком, в профиль, когда ветер чуть треплет волосы, — можно было на секунду поверить, что это она. Та же гордая посадка головы, тот же лёгкий наклон, будто человек всё время прислушивается к чему-то важному. Даже то, как Джамиля ставила чашку на стол — аккуратно, но без лишней осторожности, словно знала: мир не рассыплется от одного неловкого движения.

Но стоило задержать взгляд, всмотреться глубже — и сходство рассыпалось, как песок между пальцами. Айлин всегда смотрела на мир так, будто ждала, что он вот-вот её разочарует. В её глазах была готовность к обиде, к ссоре, к тому, чтобы первой сказать: «Ты меня не понимаешь». Она хотела, чтобы её спасали, и если никто не бросался на амбразуру ради неё, она обижалась — не со зла, а потому что иначе не знала, как быть нужной.

А Джамиля… Джамиля будто хотела быть полезной. Не чтобы её любили за это, а чтобы мир вокруг стал чуть тише, чуть безопаснее. Она не ждала, что кто-то сломает ради неё стену. Она сама брала кирпичик и аккуратно клала его туда, где буркнул он Джамиле, не поднимая глаз, но и не убегая.

Она взяла камешек, улыбнулась и положила его рядом с тем, первым.

— Спасибо, Мехмед. Я буду их беречь.

Мехмед кивнул, будто этого было достаточно, и пошёл к столу, где его уже ждали краски.

Давут смотрел на это и думал: вот оно. Не громкие слова, не клятвы, не обещания перевернуть небо и землю. Просто камешек на столе. Просто чашка чая. Просто человек, который не торопит, не требует, не ждёт, что ты будешь героем каждую минуту.

И вдруг он понял, что именно это и делает историю настоящей. Не эффектные повороты, не драматические сцены, а вот эти маленькие мгновения, когда кто-то кладёт камешек на стол, кто-то наливает чай, кто-то просто говорит: «Я тут. Можешь не быть никем сегодня».

И если в сценарии про Бурака Канвира получится передать хотя бы часть этого — значит, они с Али делают что-то важное. Не про славу. Не про успех. А про то, что даже одинокий человек может однажды почувствовать: он не один.

Коробки оказались тяжёлыми не столько от веса, сколько от того, сколько всего в них хранилось: старые папки с заявками, стопки распечатанных упражнений, детские рисунки, аккуратно сложенные в прозрачные файлы, и даже пара потрёпанных мягких игрушек, которые уже не использовали, но выбросить рука не поднималась. Давут поднимал одну коробку, Джамиля придерживала край, чтобы не зацепить угол о дверной проём, и в этом совместном движении было что-то удивительно правильное — будто они уже научились чувствовать ритм друг друга.

— Знаешь, — сказал Давут, опуская коробку на стол и вытирая тыльной стороной ладони лёгкую испарину со лба, — я всё время думаю про тебя и никак не могу собрать всю картину. Ты будто из разных миров. И этот центр, и то, как ты с детьми… и при этом ты такая спокойная, будто знаешь, откуда берётся тишина. А откуда она у тебя? Расскажи про маму.

Джамиля на секунду замерла, будто прислушиваясь к этому слову — «мама». Потом улыбнулась, и улыбка вышла не широкой, а какой-то тёплой и тихой, будто она держала её внутри много лет и теперь осторожно выпускала наружу.

— Мама у меня русская. Её звали Яна. По молодости она просто обожала турецкие сериалы. И актёра Бурака Озчивита. Строила с ним планы в мечтах — не всерьёз, конечно, а так, как девочки строят планы: вот он приедет, увидит её на набережной, влюбится с первого взгляда, и они уедут в Стамбул, и там будет солнце, и кофе, и бесконечные разговоры до утра.

Давут тихо рассмеялся, и в этом смехе не было ни насмешки, ни иронии — только понимание.

— Я знаю этот сценарий. Его половина девчонок в стране когда-то проигрывала в голове.

— Да, — кивнула Джамиля, раскладывая папки по стопкам, но делая это медленно, будто каждое движение помогало ей рассказывать. — А бабушка моя была строгая. Говорила: «Замуж только за русского. Мы свой род не путаем». И

мама кивала, соглашалась, но про себя всё равно продолжала смотреть сериалы и улыбаться, когда на экране появлялся Озчивит.

Она замолчала на секунду, будто вернулась туда, в ту комнату, где пахло ванилью и где на стене висели распечатанные кадры из любимых эпизодов.

— А когда маме исполнилось двадцать два, она встретила моего отца. Он приехал в Ярославль по делам — что-то с поставками, не помню уже. Они столкнулись в книжном магазине: оба потянулись за одной и той же книгой, рассмеялись, и с этого всё началось. У них закрутилось так быстро, что мама сама не успела понять, как вместо мечтаний про Стамбул у неё появились настоящие планы: свидания, разговоры, прогулки по набережной Волги, когда город уже засыпал, а они всё шли и шли, будто боялись, что если остановятся, волшебство исчезнет.

Давут слушал, не перебивая, и в какой-то момент перестал раскладывать бумаги. Просто стоял и смотрел на Джамилю, видя, как в её глазах загораются тёплые огоньки воспоминаний.

— И тогда мама поругалась с семьёй. Бабушка кричала, что она предаёт род, что это всё мишура, что турецкий мужчина — это чужая кровь. А мама плакала, но стояла на своём. Она сказала: «Я люблю его. И если вы не можете этого принять, я улечу с ним». И улетела. В Турцию.

— Сильно, — тихо произнёс Давут. — Решиться вот так.

Против семьи. Ради любви.

— Она была сильной, — кивнула Джамиля. — Но не грубой. Не той, кто ломает стены. А той, кто строит свои. Как будто говорила: «Я не хочу воевать. Но я не откажусь от своего».

Она на секунду замолчала, потом достала из кармана маленький, чуть потёртый брелок — крошечный фотоаппарат на тонкой цепочке.

— Она у меня фотограф. До сих пор снимает. Говорит, что мир — это не то, что мы видим, а то, на что решаемся посмотреть. Она учит меня замечать детали. Вот этот камешек, который дал мне Мехмед. Вот этот свет на полу, когда солнце падает под определённым углом. Вот эту тишину между криком и вдохом, когда ребёнок пытается собраться.

Давут осторожно коснулся брелока кончиками пальцев, не забирая, просто позволяя себе почувствовать его вес.

— В этом много красоты. Не громкой. Не той, что бросается в глаза. А тихой. Той, которую надо искать.

— Именно, — улыбнулась Джамиля. — И знаешь, что самое смешное? Когда я была маленькой, я думала, что мама всё ещё немного влюблена в Озчивита. Потому что иногда, когда она смотрела старые сериалы, у неё в глазах появлялся тот самый блеск — как у девочки, которая снова верит в чудо. А потом я поняла: она не в него была влюблена. Она была влюблена в то чувство, когда ты решаешься на что-то важное. Когда ты говоришь: «Я выбираю это. Даже если бу-

дет трудно».

Давут кивнул, будто эти слова легли куда-то глубоко, туда, где у него самого ещё болело.

— Наверное, это и есть смелость. Не, когда ты ничего не боишься. А когда боишься, но всё равно делаешь. Как ты с детьми. Как твоя мама тогда, в Ярославле.

— Ещё она поменяла имя, — неожиданно добавила Джамиля, будто вспомнила деталь, которую обычно не рассказывала никому. — Когда переехала в Турцию, взяла своё крестильное имя, но в турецкой версии — Yuhanna'nın. Не для того, чтобы забыть, кем была. А чтобы соединить. Чтобы и русская Яна, и турецкая Yuhanna'nın жили в ней вместе. Она говорила, что имя — это не про страну. Это про то, кто ты внутри.

Давут задумался, словно примеряя это на себя.

— Знаешь, я часто думаю, что актёр — это про то, чтобы становиться кем-то другим. Но, наверное, самое трудное — оставаться собой. Даже когда мир просит тебя быть кем-то ещё. Твоей маме это удалось.

— Да, — тихо сказала Джамиля. — Она не отказалась ни от одной своей части. Ни от сериалов, ни от бабушкиных наставлений, ни от отца, ни от этой страны. Она просто сказала: «Всё это — я».

Они снова взялись за коробки, но теперь делали это не спеша, будто сами коробки уже не были главным. Главное было в том, что между ними появилось ещё одно звено —

история, рассказанная не для того, чтобы произвести впечатление, а чтобы быть понятой.

— Знаешь, — тихо добавила Джамиля, доставая из одной из папок пожелтевшую вырезку из газеты, — а ведь не только мама была такой… сильной. Мой дед, то есть её папа, он… он был настоящим героем. Пожарным в МЧС России по Ярославской области. Сейчас — подполковник на пенсии.

Давут осторожно заглянул в вырезку: на фото мужчина в форме стоял рядом с пожарной машиной, а в глазах у него было такое спокойствие, будто он точно знал, куда ступить в любой буре.

— Вот про таких людей мама всегда писала доклады, когда в школе говорили про героев Ярославля. Она так гордилась им. И знаешь, самое смешное… или, наверное, самое трогательное: она одно время хотела быть пожарным. Бегала по дому в старом папином шлеме, который дед ей отдал, и кричала: «Я всех спасу!»

Давут улыбнулся, но в этой улыбке было больше тепла, чем веселья.

— Представляю. Маленькая девочка, которая хочет держать мир в безопасности.

— Да, — кивнула Джамиля. — И она правда хотела. Не ради славы, не ради того, чтобы её хвалили. Просто ей было невыносимо, когда кто-то плачет, когда кому-то страшно. Как будто её собственная душа начинала гореть вместе с чужим огнём. А дед… он её понимал. Никогда не смеялся над

этим шлемом. Наоборот. Он сажал её к себе на колени, обнимал, и она вдруг чувствовала, как внутри всё затихает. Как будто его руки были стеной между ней и всем страшным, что есть на свете.

Она помолчала, будто снова ощутила то самое объятие — крепкое, надёжное, без лишних слов.

— Он говорил ей: «Ты можешь хотеть спасать всех. Это хорошее сердце. Но помни: чтобы кого-то вытащить из огня, сначала надо самому стоять на твёрдой земле. И не бежать туда, где горит, если не знаешь, как не сгореть».

Давут медленно кивнул, словно эти слова падали в него не как чужая история, а как что-то давно нужное, но забытое.

— Мудрые слова. Не про героизм напоказ. А про ответственность. Про то, что нельзя спасать других, если сам вот-вот рухнешь.

— Именно, — сказала Джамиля, аккуратно кладя вырезку обратно в папку, будто прятала самое дорогое. — И знаешь, я думаю, именно от него мама взяла эту привычку: не торопиться. Не бросаться. Сначала убедиться, что у тебя под ногами твёрдо. А потом уже протягивать руку. Вот почему она не отказалась от своего, когда бабушка кричала. Потому что дед научил её: смелость — это не, когда ты кричишь громче всех. Смелость — это когда ты тихо, но твёрдо говоришь: «Я знаю, что делаю».

Давут посмотрел на неё, и в его взгляде было не восхищение, а что-то глубже — признание.

— Теперь я понимаю, откуда у тебя эта тишина. Ты не из пустоты её взяла. Она у тебя из семьи. Из мамы, которая не побоялась улететь за своей любовью. Из деда, который обнимал так, что становилось легче дышать. Ты выросла там, где умели и защищать, и отпускать.

Джамиля чуть склонила голову, будто приняла эти слова как тёплый плед в прохладный вечер.

— Наверное. Я раньше не думала об этом так. А теперь понимаю: всё, что я делаю здесь, в центре… это как будто я строю такую же стену. Не чтобы никого не впускать, а чтобы внутри было безопасно. Чтобы ребёнок вроде Гомзе мог спрятаться за ней, отдышаться, а потом, когда будет готов, выглянуть наружу.

В этот момент дверь приоткрылась, и на пороге появилась Лейла, стажёрка, которая уже понемногу училась у Джамили этому тихому искусству быть рядом.

— Там Гомзе пришла. С мамой. Она сегодня не прячется за плечо, просто держится за руку. И всё время оглядывается на дверь, будто проверяет: ты тут?

Джамиля кивнула, не торопясь, но уже внутренне собираясь, как человек, который знает: сейчас его присутствие кому-то нужно.

— Спасибо, Лейла. Скажи, что я сейчас подойду. Пусть посидят, выпьют воды. Пусть не спешат.

Когда Лейла ушла, Джамиля повернулась к Давуту.

— Прости, мне надо…

— Иди, — перебил он мягко, чуть касаясь её плеча — не настойчиво, а так, чтобы она почувствовала: он тут, он держит пространство, пока она уходит делать важное. — Я тут доделаю с коробками. Или просто посижу. Если хочешь, могу даже посидеть в коридоре, как в прошлый раз. Тихо. Без слов.

Она улыбнулась, и в этой улыбке была благодарность, которую не выразить фразами.

— Спасибо. Иногда просто знать, что кто-то доделает коробку, уже делает день легче.

И она ушла — не спеша, но уверенно, как человек, который точно знает, куда идёт.

Давут остался один среди коробок, папок и старых рисунков. Взял в руки тот самый камешек, который дал ему Мехмед, и сжал в ладони. И вдруг понял, что эти истории — про маму, про деда, про шлем и про объятия — они не просто о прошлом. Они о том, как учатся быть опорой.

Он сел на край стола, положил камешек рядом и достал телефон. Набрал Али.

— Слушай, мы всё время пытаемся сделать Бурака Канвира громким. Одиноким, но ярким. А он не яркий. Он… тихий. Как этот камешек. Как объятия, от которых становится легче. Давай перепишем сцену в кафе. Пусть он не кричит, не ломает стол. Пусть просто сядет, опустит плечи и скажет: «Мне сегодня тяжело. Можно я посижу тут и просто поды-

шу?»

Али на том конце помолчал секунду.

— Ты сейчас не про сценарий говоришь.

— Про него, — ответил Давут спокойно. — Но и про себя тоже.

— Тогда давай так и сделаем. Пусть герой не спасает мир. Пусть ему сначала помогут просто сесть и подышать.

Они ещё немного обсудили детали, и когда Давут убрал телефон, в центре уже звучали тихие голоса, детский шёпот, шуршание бумаги.

А чуть позже, когда Джамиля вышла на минутку, чтобы налить себе воды, Давут тихо сказал:

— Знаешь, твоя мама и твой дед… они научили тебя не бояться тишины. А я только учусь. Но рядом с тобой получается.

Джамиля посмотрела на него, и в её взгляде не было ни жалости, ни снисхождения. Только спокойное: «Ты справишься».

— Это приходит не сразу. Но если ты замечаешь тишину — значит, ты уже на полпути.

Затем он попросил ее провести экскурсию по этому центру. Джамиля провела Давута по центру так, будто показывала не просто комнаты, а кусочки своего мира — каждый со своим дыханием, со своим ритмом.

— Вот кабинет дефектолога, — тихо сказала она, чуть приоткрывая дверь, за которой женщина в мягком свитере и

туфлях без каблуков что-то спокойно объясняла мальчику, водя пальцем по карточке. — Здесь учатся понимать мир, когда он кажется слишком громким или слишком быстрым. Тут не торопят. Тут помогают найти свой темп.

Дальше был кабинет логопеда — в нём пахло деревом и карандашами, на полках стояли фигурки зверей, и казалось, что даже воздух здесь был устроен так, чтобы слова давались легче.

— Тут учатся не стыдиться, если слово не выходит сразу, — пояснила Джамиля. — Потому что иногда самое важное — это просто попробовать ещё раз. И знать, что тебя не будут подгонять.

Сенсорная комната встретила их приглушённым светом и мягким гулом, похожим на шум далёкого моря. На полу лежали маты, в углу тихо переливались огоньки фиброптического волокна, а в воздухе витал лёгкий запах лаванды.

— Здесь можно просто быть. Если день был слишком колючим, слишком громким, слишком полным чужих ожиданий. Здесь можно завернуться в утяжелённое одеяло, смотреть на огоньки и позволить себе не быть сильным.

Комната для рисования и лепки была самой яркой: на столах — куски глины, баночки с красками, листы бумаги всех цветов, а на стенах — детские рисунки, где солнце было размером с дом, а люди тянулись друг к другу руками, которые занимали полстраницы.

— Тут мы учимся говорить руками, когда словами не по-

лучается, — улыбнулась Джамиля. — Глина помнит прикосновение. Рисунок помнит настроение. И никто не говорит: «Нарисуй красиво». Говорят, «Нарисуй, как ты чувствуешь».

Комната для танцев и спорта была просторной, с зеркалами и мягким покрытием. В углу стояли мячи, обручи, балансиры.

— Движение тоже язык. Иногда ребёнок не может сказать: «Мне страшно», но может прыгнуть, крутануться, покачаться — и это уже будет его способ выдохнуть.

И наконец, комната для подготовки к школе — аккуратная, с маленькими партами, счётами, карточками букв и цифрами на стене.

— Тут мы не столько учим буквы, сколько учим не бояться ошибок. Потому что школа — это не только знания. Это ещё и умение поднять руку и сказать: «Я не понял». И знать, что тебе помогут, а не осудят.

Давут слушал, смотрел, впитывал. Он не делал вид, что всё понимает с полуслова, не кивал слишком бодро. Он просто стоял, смотрел на каждую деталь и будто запоминал, как устроено это место, где к чужой боли относятся как к хрупкой вещи, которую нельзя уронить.

Когда они обошли все комнаты и снова оказались в небольшом холле, где на полке по-прежнему лежал камешек Мехмеда, Джамиля вдруг остановилась и посмотрела на Да-

вута чуть иначе — не как на гостя, а как на человека, которому хочется открыть ещё одну дверь.

— А теперь ты расскажи про своих. Про родителей. Я столько про свою семью тебе выложила… а про тебя почти ничего не знаю.

Давут на секунду замер, будто не ожидал этого поворота. Потом улыбнулся — не широко, а так, как улыбаются, когда вспоминают что-то тёплое, но не слишком громкое.

— Мой папа — повар. Его зовут Ватан. Работает в крутом ресторане, и там все его уважают. Он из тех людей, которые могут одним движением ножа сделать так, что обычный лук превращается во что-то особенное. Он всегда говорил мне: «Еда — это не про голод. Еда — это про заботу. Если ты готовишь, ты говоришь: „Я хочу, чтобы тебе было хорошо “».

Он помолчал, вспоминая.

— У него руки сильные, но аккуратные. Он никогда не кричал, не стучал кулаком по столу. Но когда он что-то решал, все знали: это окончательно. И ещё… он всегда замечал, когда я не хотел есть. Не заставлял. Просто говорил: «Сегодня не хочется — ничего. Завтра захочется. Я тут».

Джамиля слушала, чуть наклонив голову, и в этом её внимании не было ни любопытства, ни желания выудить драму. Просто тихое: «Я слышу тебя».

— А мама — Хандэ. Риэлтор. Она умеет видеть в обычном доме историю. Не стены и метры, а то, кто будет сидеть у окна, кто будет ставить цветы на подоконник, кто будет пря-

тать ключи под коврик. Она говорит: «Дом — это не адрес. Дом — это место, где тебе не нужно притворяться».

Давут снова улыбнулся, будто эти слова родителей сами по себе согревали.

— Иногда мне казалось, что они живут в разных мирах: папа — на кухне, где всё про тепло и про руки, мама — в этих бесконечных просмотрах квартир, где всё про людей и их мечты. А потом я понял: они оба про одно. Про то, чтобы у человека было место, где он может выдохнуть. Где он может быть собой.

Джамиля кивнула, и в её глазах мелькнуло что-то очень родное — будто она услышала в его словах эхо своих собственных.

— Знаешь, это очень похоже на то, что мы делаем здесь. Твой папа говорит про еду как про заботу. Твоя мама — про дом как про безопасность. А мы тут стараемся сделать так, чтобы у каждого ребёнка было своё место, где можно не притворяться. Где можно сказать: «Сегодня я не хочу рисовать. Сегодня я хочу просто посидеть».

Давут посмотрел на неё и вдруг почувствовал, как уходит то напряжение, которое он носил с собой как старую куртку — тяжёлую, привычную, но уже не нужную.

— Наверное, поэтому мне здесь спокойно. Потому что это место сделано из таких же вещей. Из заботы, из терпения, из умения не торопить.

В этот момент из комнаты для рисования выглянул Мехмед. Он увидел Джамилю, потом Давута, задержал взгляд на камешке, который Давут всё ещё держал в кармане, будто боялся потерять, и чуть заметно кивнул — как будто одобрял: «Ты всё ещё тут. Это хорошо».

Потом он снова скрылся за дверью, а Джамиля тихо рассмеялась — так, как смеются, когда день вдруг становится чуть светлее.

— Видишь? Он не требует длинных разговоров. Он просто проверяет: ты на месте. И если ты на месте, ему уже спокойнее.

Давут кивнул и, не раздумывая, достал камешек из кармана и положил его на полку рядом с тем, первым.

— Пусть лежит. Чтобы он знал: я никуда не исчез.

Позже, когда солнце уже садилось и центр потихоньку затихал, они сидели на подоконнике в холле, пили остывший чай из больших кружек и говорили уже не про семьи, не про коробки, а про мелочи: про запах свежей краски, про то, как дети смеются, если подуть на лужицу, про то, как иногда тишина бывает самой громкой вещью на свете.

И Давут вдруг понял, что впервые за долгое время не думает о том, каким он должен быть: крутым, собранным, тем, кто всё держит под контролем. Здесь не нужно было быть кем-то. Здесь можно было просто сидеть, держать в руках тёплый бок кружки и говорить: «Сегодня был хороший день. Я кому-то помог просто быть».

А Джамиля смотрела на него и думала, что, наверное, именно так и строится доверие — не из больших клятв, а из маленьких шагов: показать центр, рассказать про маму, спросить про родителей, положить камешек на полку.

Из этих шагов и получался берег.

Со временем их разговоры перестали умещаться в часы между коробками и занятиями. Они стали искать поводы побыть вместе подольше, и город будто подсказывал эти поводы сам: тёплый ветер с пролива, запах жареных мидий у лотков, огни, зажигающиеся над Босфором один за другим, как маленькие обещания, что день не кончается просто так.

Они гуляли по набережной, и Джамиля замечала то, мимо чего Давут раньше проходил, не видя: как тень от фонаря ложится на брусчатку, как чайки спорят над водой, как у старого рыбака в глазах отражается закат. А Давут, в свою очередь, помогал ей не прятать усталость за привычной заботой: если она говорила «я немного устала», он не предлагал сразу «давай что-нибудь сделаем», а просто брал её за руку и говорил: «Тогда просто пойдём. Медленно. Или вообще постоим тут».

Поцелуи на закате получались не как в тех сериалах, что когда-то смотрела мама Джамили, — без громких признаний и клятв на фоне бушующего моря. Они были тише, спокойнее, будто подтверждали: «Ты здесь. И я здесь. И этого достаточно».

А посиделки у Давута дома стали чем-то особенным. Там пахло специями, которые его отец Ватан оставлял на полке «на всякий случай», и в этом запахе было что-то надёжное, как отцовское «я тут». Джамиля садилась на подоконник, поджимала ноги, а Давут ставил рядом чашку чая и садился напротив, на край кровати, и они могли говорить про мелочи: про то, как Мехмед впервые сам попросил у него помощи, про то, как Гомзе вдруг рассмеялась над чем-то простым, про то, как Али придумал новую сцену, где герой не спасает, а просто сидит рядом.

И в этих разговорах Давут всё чаще чувствовал, как уходит та тяжесть, которая раньше давила на плечи: будто, рассказывая про свой страх забыть слова, про тревогу, которая накатывала посреди съёмок, он не становился слабее, а наоборот — обретал опору. Джамиля не обещала, что всё будет легко. Она просто слушала так, что становилось легче дышать.

День, когда Давут решил познакомить Джамилю с родителями, он будто заранее готовил, как самую важную сцену в жизни. Не репетировал слова — он знал, что если начнёт заучивать, то запутается ещё сильнее, — но мысленно расставлял акценты: вот тут он скажет «это Джамиля», вот тут мама чуть наклонит голову, вот тут папа молча кивнёт, а потом обязательно предложит что-нибудь съесть.

Они шли по узкой улочке, где балконы почти касались друг друга, а на перилах сушились полотенца и стояли горш-

ки с геранью. Джамиля шла рядом, чуть медленнее обычного, будто хотела запомнить каждый дом, каждый поворот, чтобы потом, если вдруг станет тревожно, можно было мысленно вернуться сюда и пройтись по этим камням снова.

— Ты не волнуйся, — сказал Давут, хотя сам чувствовал, как внутри всё слегка подрагивает, как струна, которую тронули слишком осторожно. — Они… они не из тех, кто оценивает. Они из тех, кто сразу делает так, чтобы стало спокойно.

Джамиля улыбнулась, но улыбка вышла немного натянутой.

— Я не за себя волнуюсь. Я боюсь, что не пойму какой-то их тихий знак. Что скажу не то, сделаю не так… А мне важно, чтобы они поняли: я не пытаюсь занять твоё место в их жизни. Я просто хочу быть рядом с тобой.

Давут остановился, взял её за руку и посмотрел прямо, без спешки.

— Они поймут. Потому что они знают: если ты со мной — значит, ты мне нужна не для картинки. А для настоящего.

Дверь открыла Хандэ. Она стояла в светлом платье, с полотенцем через плечо, и в её взгляде было столько тепла, что тревога Джамили будто наткнулась на мягкую стену и тихо осела.

— А, вот и вы! — сказала Хандэ, будто они не в гости пришли, а просто вернулись с прогулки, которую она ждала. — Я тут немного суетилась. Но это не потому, что надо. Это

потому, что когда ждёшь кого-то важного, руки сами ищут дело.

Она обняла Давута, легко, привычно, и тут же повернулась к Джамиле — не с оценивающим взглядом, а с тем особенным вниманием, с каким Хандэ смотрела на квартиры, будто сразу видела в человеке его «дом».

— Здравствуй, Джамиля. Рада тебя видеть. Проходи, не стой на пороге. Порог — это место, где остаётся всё лишнее. А у нас дома лишнего не держат.

И Джамиля вдруг почувствовала, как уходит напряжение: не рывком, а постепенно, как уходит холод из комнаты, когда открывают дверь и впускают тёплый воздух.

Из кухни вышел Ватан. Он был в простой рубашке, рукава закатаны, на запястье — старые часы, которые он никогда не снимал. В руках он держал деревянную доску и нож, будто только что резал что-то, и это было так по-домашнему, так просто, что Джамиля невольно улыбнулась.

— Папа, — сказал Давут, и в этом слове было столько уважения и нежности, что Джамиля услышала в нём целую историю, — это Джамиля.

Ватан посмотрел на неё не спеша, как смотрят на что-то ценное,что нельзя схватить резко, чтобы не уронить. Потом чуть наклонил голову — так, как делал всегда, когда хотел показать уважение без лишних слов.

— Рад познакомиться, Джамиля. Если хочешь, можешь звать меня Ватан. Или «папа Ватан», если тебе так спокой-

нее. А если вообще никак — я и так пойму, что ты просто привыкаешь.

Он улыбнулся, и в этой улыбке не было ни давления, ни желания казаться лучше. Просто: «Ты тут. И это хорошо».

— Спасибо, — тихо сказала Джамиля. — Мне… мне правда спокойнее, когда всё просто.

Ватан кивнул, будто услышал самое главное.

— Тогда давай сделаем ещё проще. Ты любишь баклажаны? Или лучше что-то совсем обычное — лепёшку, сыр, зелень? Я не буду готовить «праздник». Я буду готовить «чтобы было тепло».

И Джамиля вдруг поняла: вот оно, то самое, о чём говорил Давут. Еда как забота. Не как способ впечатлить, а как способ сказать: «Я хочу, чтобы тебе было хорошо».

Они сели за стол на кухне — не в гостиной, куда Хандэ предлагала, а именно здесь, среди запахов специй, среди кастрюль и чашек, среди того, что было настоящим, а не парадным. Хандэ разливала чай в маленькие стаканы, Ватан раскладывал на тарелке кусочки лепёшки, посыпал зеленью, и делал это так спокойно, будто весь мир должен быть устроен именно так: без суеты, с вниманием к деталям.

— Давут говорил, ты работаешь с детьми, — сказала Хандэ, садясь рядом и чуть наклоняя голову, как делала всегда, когда хотела услышать не слова, а то, что за ними. — В центре. Расскажи, если хочешь. А если не хочешь — тоже нормально. Можно просто про город, про чай, про то, как

сегодня ветер дул.

И Джамиля рассказала. Не всё сразу, не громко, но искренне: про Мехмеда, который сначала прятался за дверью, а теперь иногда клал камешек на стол, будто это был его способ сказать «ты можешь остаться». Про Гомзе, которая училась не бояться чужих взглядов. Про то, как важно иногда просто сидеть и дышать, не пытаясь быть лучше, чем ты есть.

Ватан слушал, не перебивая, только иногда кивал, будто запоминал не слова, а интонации, будто хотел понять не только смысл, но и то, сколько сил стоит за каждым из них.

— Знаешь, — сказал он наконец, откладывая нож и глядя на Джамилю спокойно и прямо, — мой дед говорил: «Самая большая помощь — это не, когда ты тащишь человека на себе. А когда ты становишься рядом и говоришь: „Я тут. Можешь опираться “». Мне кажется, ты именно это и делаешь.

Джамиля почувствовала, как к горлу подступает что-то тёплое, почти как слёзы, но не от грусти, а от того, что её наконец-то услышали. По-настоящему.

— Спасибо, — прошептала она. — Иногда кажется, что ты делаешь так мало… просто сидишь, просто слушаешь… и думаешь, что этого недостаточно.

— Достаточно, — твердо сказал Ватан. — Иногда одного «я тут» хватает, чтобы человек перестал падать.

Хандэ тихо коснулась её руки — лёгким, почти незаметным жестом, но в нём было столько поддержки, что Джамиля

поняла: она здесь не чужая. Она не обязана быть идеальной, не обязана знать все правильные слова. Ей просто позволили быть собой.

А Давут сидел рядом и смотрел на них всех, и в его сердце разливалось то самое чувство, ради которого люди и строят дома, и готовят еду, и встречают гостей: чувство, что мир стал чуть больше, но при этом — уютнее.

Когда вечер опустился на город, и огни за окном стали гореть ярче, они сидели всё там же, на кухне, пили уже остывший чай, и говорили о мелочах: о том, как странно пахнет дождь после жары, о том, что у старых домов есть свои голоса, о том, что иногда самое важное слово — это «спасибо» за то, что просто посидели рядом.

И когда они уходили, Хандэ обняла Джамилю так, как обнимают не на прощание, а как будто говорят: «Ты теперь знаешь дорогу. Возвращайся». А Ватан, провожая их до двери, тихо сказал Давуту:

— Хорошая она. Не из тех, кто хочет всё исправить. А из тех, кто помогает не сломаться. Береги это.

Давут кивнул, чувствуя, как в груди становится тепло и спокойно.

— Я буду.

Однажды Давут остановился посреди улицы, будто что-то вспомнил, и посмотрел на Джамилю с лёгкой улыбкой.

— Знаешь, я хочу познакомить тебя с Али. Он… он часть моей жизни. И если ты — тоже, то пусть они встретятся.

Пусть узнают друг о друге не из моих рассказов, а сами.

Джамиля чуть нахмурилась, будто проверяла это чувство внутри: волнение, лёгкое беспокойство, желание понравиться.

— Я тоже хочу. Но… можно я возьму с собой подругу Дуру? Она всегда говорит, что я слишком много думаю, прежде чем что-то сделать. А с ней я как будто дышу ровнее.

Давут рассмеялся, и в этом смехе было столько тепла, что Джамиля невольно улыбнулась.

— Конечно. Пусть будет Дура. Чем больше тех, кто помогает тебе дышать ровно, тем лучше.

Они договорились встретиться в небольшом кафе у воды — там, где столики стояли близко, но не вплотную, где можно было говорить тихо, и всё равно тебя слышали.

Али пришёл первым. Он уже знал, что Джамиля — это та самая, про которую Давут говорил не как про «девушку», а как про человека, который научил его не бояться своих слабых дней. Когда они вошли — Джамиля в лёгком пальто, с чуть растрепавшимися от ветра волосами, а рядом с ней высокая, живая, будто искрящаяся энергией Дуру, — он сразу понял: вот она. Не та, что спасает, а та, рядом с которой можно перестать быть героем.

— Привет, — сказал Али, вставая и чуть наклоняя голову, как делал всегда, когда хотел показать уважение без лишних слов. — Рад тебя видеть. И тебя тоже, — добавил он, глядя

на Дуру, и в его голосе прозвучало что-то новое — не просто вежливость, а искреннее любопытство.

Дуру чуть приподняла бровь, будто проверяя его на прочность, и улыбнулась:

— Ну, если ты друг Давута, значит, ты либо гений, либо сумасшедший. Надеюсь, и то, и другое.

Али рассмеялся — громко, свободно, так, как давно не смеялся.

— Пожалуй, второе чаще. Но сегодня постараюсь быть первым.

Они сели, заказали чай, айран, тарелку мезе, и разговор пошёл легко, будто они знали друг друга давно. Давут и Джамиля говорили про центр, про детей, про то, как маленький камешек может стать целым берегом. Али кивал, делал пометки в блокноте, а потом вдруг поднял голову и сказал:

— Знаете, я думаю, мы можем добавить это в сценарий. Не как отдельную линию, а как воздух, которым дышит история. Пусть Бурак Канвир увидит, как кто-то строит эти берега. И поймёт, что и он может так же. Не спасать, а просто быть рядом.

Джамиля улыбнулась, глядя на Давута.

— Это хорошая сцена. Очень настоящая.

А Дуру, которая слушала, чуть наклонив голову, вдруг сказала:

— А знаете, что ещё настоящее? То, как вы все смотрите друг на друга. Как будто каждый из вас — это кусочек пазла,

который остальные давно искали.

В этот момент Али посмотрел на неё чуть дольше, чем нужно для простого разговора, и в его взгляде мелькнуло что-то очень живое.

— Наверное, ты права. Иногда самое важное — это не то, что ты делаешь. А то, с кем ты это делаешь.

Дуру фыркнула, будто пряча смущение за иронией, но в её глазах блеснул интерес.

— Красиво говоришь. Смотри, я могу и поверить.

— Пусть верит, — тихо сказал Давут, глядя на Джамилю. — Пусть все верят в хорошее.

Вечер тянулся медленно, как бывает, когда не хочется, чтобы он заканчивался. Они говорили про фильмы, про город, про детство, про страхи и мечты, и с каждым словом становилось яснее: они нашли друг в друге не просто собеседников, а людей, рядом с которыми можно быть настоящим.

Когда они вышли из кафе, над Босфором уже горели звёзды, а вода казалась чёрной и бесконечной. Давут обнял Джамилю за плечи, и она прижалась к нему, чувствуя, как уходит дневная усталость.

— Спасибо, что познакомил меня с ним, — тихо сказала она. — С Али. Теперь я вижу, откуда у тебя эта способность не торопить. Он такой же.

— Мы друг у друга этому учились, — ответил Давут. — А теперь, кажется, учимся у тебя.

Где-то позади них Дуру и Али шли чуть медленнее, о чём-то спорили, смеялись, и в их шагах уже звучало что-то новое, будто город тихо шептал: «Это только начало».

Али попрощался с ними у перекрёстка, где ветер с пролива особенно настойчиво трепал полы пальто, а уличные фонари отражались в мокром асфальте, будто рассыпанные монеты.

— Я пойду, — сказал он, чуть задерживаясь, будто ещё надеялся, что разговор можно продлить хоть на пару минут. — Завтра рано на студию. Надо ещё наброски доделать.

Давут хлопнул его по плечу — просто, по-дружески, без лишних слов.

— Ты сегодня хорошо слушал. Сценарий станет лучше.

Али кивнул, но в голове у него уже крутилось не про сценарий.

Джамиля улыбнулась ему тепло, как улыбаются человеку, который стал своим:

— Спасибо, что пришёл. Было… спокойно. Как будто мы все давно должны были вот так сесть и просто поговорить.

А Дуру стояла чуть в стороне, будто нарочно давала остальным сказать своё, но когда Али повернулся, чтобы уйти, она шагнула ближе и сказала с этой своей лёгкой насмешливой интонацией, за которой пряталось что-то искреннее:

— Если будешь писать

что-то про людей, которые слишком много думают и

слишком громко спорят, — вставь туда кого-то вроде меня. Только пусть он не будет карикатурой. Пусть будет живым.

Али замер на секунду, будто поймал эту фразу и теперь не хотел её отпускать.

— Обязательно. И пусть он будет тем, кто первым замечает, когда остальным становится тяжело. Тем, кто шутит, чтобы другим было легче дышать.

Дуру чуть склонила голову, будто проверяла, всерьёз ли он это говорит, и потом улыбнулась — уже без иронии, просто искренне:

— Ладно. Тогда я буду ждать.

Они разошлись в разные стороны: Давут и Джамиля — вдоль набережной, где огни тянулись лентой по воде, а Али и Дуру — по узкой улочке вверх, к автобусной остановке. Но даже когда они свернули за угол и скрылись из виду, Али всё ещё слышал её голос, её смех, её короткие, точные фразы, в которых не было ни лишней воды, ни желания казаться кем-то другим.

Дома Али скинул куртку, не повесил на крючок, а просто бросил на спинку стула — так, как делают, когда внутри всё ещё гудит от впечатлений и хочется скорее сесть, выдохнуть, разложить по полочкам то, что случилось. Он налил себе стакан воды, сел на подоконник, как часто делал, когда нужно было подумать, и посмотрел на город: на редкие окна, где ещё горел свет, на тёмную полосу пролива, на звёзды, которые в центре города почти не видно, но если очень хо-

чется — можно разглядеть одну-две.

И он думал о Дуру.

Не о том, как она выглядела — хотя и это было: её лёгкая небрежность, будто ей совершенно всё равно, как она стоит, и именно поэтому она стояла так, что на неё хотелось смотреть. Не о том, как она шутила, будто примеряла слова на прочность. А о том, как в какой-то момент, посреди их разговора, она вдруг перестала прятаться за иронией и сказала что-то очень простое: «Иногда мне кажется, что я слишком громко занимаю пространство. Но если я стану тише, меня перестанут замечать. А я не хочу быть невидимой».

Он тогда не успел ничего ответить. Просто кивнул, будто понял. А теперь, сидя на подоконнике, он вдруг понял, что не просто кивнул. Он действительно понял.

Али достал блокнот, открыл чистую страницу и начал писать — не про Бурака Канвира, не про его внутренние бури, а про кого-то другого. Про девушку, которая говорит громче, чем нужно, не потому что хочет перекричать мир, а потому что боится, что если будет говорить тихо, её не услышат. Про то, как она в первый раз в жизни не шутит, а смотрит прямо и ждёт: «Ну, скажи, что ты видишь меня. Скажи, что я тут».

Он писал долго, пока пальцы не устали держать ручку, пока слова не стали ложиться ровно, без спешки, как будто он наконец нашёл тот самый ритм, в котором можно говорить о важном.

Когда он закончил, на часах было далеко за полночь. Он отложил блокнот, подошёл к окну, прижался лбом к холодному стеклу и улыбнулся — тихо, почти незаметно.

Завтра он позвонит Давуту и скажет: «Слушай, я тут кое-что набросал. Не для основного сценария. Для себя. Но, может, это тоже часть истории».

А ещё он подумает, как бы случайно оказаться там же, где будет Дуру: у лотка с жареными мидиями, в том самом кафе, на набережной, где ветер всегда дует с одной стороны, и если стоять правильно, можно услышать, как город шепчет что-то очень личное.

Потому что ему хотелось снова увидеть, как она чуть приподнимает бровь, будто проверяет его на прочность, а потом улыбается — и в этой улыбке уже нет защиты. В ней — интерес.

Утром Али проснулся с ощущением, будто в голове крутится какая-то мелодия — не до конца ясная, но настойчивая. Он потянулся, сел на кровати и тут же увидел блокнот на тумбочке — тот самый, в котором вчера до глубокой ночи выводил слова, стараясь не потерять интонацию Дуру: её резкость, за которой пряталась уязвимость, её желание быть замеченной.

Он улыбнулся, сам не зная чему, и потянулся за телефоном. Сначала хотел написать Давуту, но пальцы будто сами набрали короткое сообщение Дуру: «Привет. Если сегодня будешь у лотка с мидиями — я тоже там буду. Не специаль-

но. Просто… там хороший вид на пролив».

Отправил и тут же почувствовал, как внутри всё поджимается от волнения — как у актёра перед первой репликой.

«Слишком просто, — подумал он. — Слишком по-человечески. Без красивых фраз». Но потом выдохнул: «Зато честно».

День на студии тянулся странно: сцены не клеились, диалоги казались пустыми, будто герои разучились говорить по-настоящему. Али сидел в углу павильона, крутил в руках ручку и ловил себя на том, что вместо правок к сценарию рисует на полях блокнота маленькие завитки, похожие на брызги воды.

— Ты сегодня где-то не здесь, — заметил Давут, присаживаясь рядом с чашкой кофе. — Или здесь, но думаешь о чём-то совсем другом.

Али хмыкнул, не поднимая глаз.

— Думаю, что все эти наши «драматичные признания» — полная ерунда. Никто не говорит в жизни: «Ты — моё солнце, моя буря, моя бесконечность». Люди говорят: «Я тут. И, если хочешь, могу просто постоять рядом, пока тебе не станет легче».

Давут кивнул, будто услышал что-то очень знакомое.

— Это Джамиля так говорит. Почти теми же словами.

— Вот именно, — сказал Али. — А я пытаюсь писать про героев, которые кричат о своих чувствах, а сам думаю толь-

ко о том, как Дуру сказала: «Не хочу быть невидимой». И мне вдруг хочется написать не про крик, а про то, как кто-то просто смотрит на неё и говорит: «Я вижу тебя. И мне нравится, что ты такая — громкая, колючая, живая».

Давут улыбнулся, чуть наклонив голову.

— Знаешь, иногда самое сильное признание — это когда ты не пытаешься никого впечатлить. А просто говоришь: «Ты важна. Даже когда споришь со всем миром».

Али помолчал, потом поднял глаза.

— А если я всё испорчу? Если она подумает, что я опять шучу, или пытаюсь казаться умнее, чем есть?

— Тогда скажи ей правду, — спокойно ответил Давут. — «Я думал о твоих словах. Они меня зацепили. И я не знаю, что с этим делать, но хочу попробовать не делать вид, что ничего не случилось».

Али вздохнул, будто с плеч упало что-то тяжёлое.

— Ладно. Спасибо.

Вечером он всё-таки пошёл к тому самому лотку с жареными мидиями. Ветер с пролива был прохладным, но не злым — скорее, бодрил, как чашка крепкого чая. Али стоял чуть в стороне, смотрел, как огоньки кафе отражаются в воде, и пытался убедить себя, что пришёл сюда просто потому, что давно не ел мидий.

И тут он увидел её.

Дуру стояла у перил, смотрела на воду, а ветер играл с

прядями её волос, выбившимися из небрежного пучка. Она была в простом пальто, с шарфом, намотанным как попало, и в этом её «неидеальном» виде было столько жизни, что у Али на секунду перехватило дыхание.

Она обернулась, будто почувствовала его взгляд, и на секунду её лицо оставалось серьёзным — будто она проверяла: это случайность или нет. А потом чуть приподняла бровь, и в её улыбке мелькнуло то самое знакомое озорство:

— Ну что, опять будешь делать вид, что оказался тут случайно?

Али подошёл ближе, засунув руки в карманы, чтобы не выдать, как они слегка дрожат от волнения.

— Честно? Нет. Я написал, что случайно, а сам шёл сюда и боялся, что тебя не будет.

Дуру чуть склонила голову, будто взвешивала его слова на невидимых весах. Потом кивнула — как будто приняла этот ответ.

— Ладно. Тогда будем считать, что это не случайность. А… закономерность.

Они стояли у перил, смотрели на воду, и Али вдруг понял, что ему не нужно придумывать красивые фразы. Рядом с ней хотелось быть проще, честнее.

— Знаешь, я вчера много думал над тем, что ты сказала про «не быть невидимой». И я… я хочу написать про героиню, которая именно такая. Которая не боится занимать место, даже если кому-то кажется, что она слишком громкая.

Дуру фыркнула, но в этом фырканье не было насмешки — скорее, смущение, которое она прятала за привычным сарказмом.

— Смотри, не сделай из меня карикатуру. Не хочу быть «той самой шумной девчонкой, которая всех бесит».

— Не сделаю, — твёрдо сказал Али. — Я хочу сделать её… настоящей. С её страхами, с её желанием быть услышанной. С тем, как она сначала шутит, чтобы никто не увидел, что ей страшно.

Дуру посмотрела на него чуть дольше, чем обычно, и в её взгляде мелькнуло что-то новое — не защита, а доверие.

— Ладно. Если будешь писать — дай потом почитать. Я скажу, где ты соврал.

Али улыбнулся, чувствуя, как внутри разливается тепло.

— Договорились.

Они пошли вдоль набережной, кричать цветом. Могу шептать тенями. Могу вообще молчать — и это тоже будет говорить.

Али достал свой блокнот, открыл чистую страницу и, не глядя на неё, спросил:

— Можно я запишу это? Не для сценария. Просто чтобы не забыть. «На холсте можно сделать так, чтобы тьма стала глубиной, а свет — тем, что тянет к себе».

Дуру фыркнула, но в этот раз в её фырканье не было ни капли язвительности — скорее, смущение, которому она на-

конец позволила быть заметным.

— Ладно. Только не превращай это в пафосную цитату в сериале. Пусть это останется просто моими словами.

— Не превращу, — пообещал Али. — Я буду держать их отдельно. Для себя. Как напоминание, что не всё нужно делать громким, чтобы это было важным.

Они снова замолчали, но тишина теперь была другой — не той, что требует заполнения словами, а той, в которой слова вообще не нужны, потому что всё уже сказано.

Потом Дуру вытащила из сумки маленький скетч бук, немного потрёпанный, с загнутыми уголками, и, будто извиняясь, протянула его Али:

— Тут не Ланеакея. Тут… просто город. Пролив. Кафе. Люди, которые спешат. Но это моё. То, как я вижу то, что все видят каждый день.

Али осторожно открыл скетч бук. На страницах были быстрые, энергичные наброски: женщина в плаще, прячущая лицо от ветра; мальчик, который кормит чаек; старый фонарь, отбрасывающий длинную тень; и где-то между ними — маленький, почти незаметный силуэт, будто кто-то стоит в стороне и смотрит на всё это, стараясь ничего не пропустить.

— Это очень… живо, — тихо сказал Али, проводя пальцем по линии тени. — Как будто я слышу, как ветер свистит между домами.

Дуру смущённо потянула скетч бук обратно, но он не от-

дал.

— Подожди. Можно я посмотрю ещё? Я хочу понять, как ты это делаешь. Как ты берёшь обычный вечер и делаешь его таким, что хочется в него войти.

И она позволила ему смотреть. Сидела, теребила край шарфа и время от времени тихо поясняла: «Вот тут я хотела передать, как свет дрожит на воде», «А этот человек мне показался одиноким, но не грустным — просто он ещё не встретил того, с кем можно помолчать».

А Али слушал и думал, что, возможно, именно так и рождается настоящая история — не из громких событий, а из таких вот тихих признаний, из маленьких деталей, из желания быть замеченным и из смелости показать свой мир.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.